





АНАТОЛИЙ ШИШКО

КАМЕННЫХ ДЕЛ МАСТЕР

ПОВЕСТЬ ЖИЗНИ
АРХИТЕКТОРА БАЖЕНОВА

Издание второе



О Г И З

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1945





*Памяти жены моей,
Лидии Васильевны Шишко*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В раннем детстве Васю привезли в Москву. Отца его, Ивана Фёдоровича Баженова, дьячка церкви села Дольское, Калужской губернии, назначили причетником в кремлёвский собор Спаса.

Было это весной, вскоре после троицы, ознаменовавшейся великим пожаром Москвы. Ехали Баженовы мешкотно, подолгу стояли в ямах, пока рядился отец с ямщиками. А когда на второй день пути предстала Белокаменная, дьячок снял скуфейку, перекрестился: только Кремль уцелел да Замоскворечье...

И ничего этого не помнит Васенька, разве со слов матери. Было ему четыре года, когда свергли Анну Леопольдовну, а шесть лет

спустя, в царствование Елизаветы, стала отстраиваться Москва. Изю дня в день бродил мальчик по городу и всё новые открывал чудеса: где недавно ещё чернело пожараще — возникал дом.

Вася срисовывал его, а вечерами раскрашивал.

Поселились Баженовы при кремлёвской церкви Иоанна Предтечи, в низкой сырой келье, с запахом плесени по углам. Горька была жизнь, тошал Васенька и вытянулся рано, худой, с большими, глубоко запавшими глазами. Игры с ребятами не занимали его. Часами он мог сидеть, разглядывая башни Кремля, церкви и переходы. Больше всего нравился ему Иван Великий. Знал Васенька: стоит Ивану ударить раз, другой, как по всей Москве заторопятся, заспорят колокола и будто пеньем наполнится воздух.

Улыбаясь, Вася глядел на Ивана Великого. Из камня была звонница, шероховатая на ощупь, невиданной высоты и стройности. Гудели вверху колокола, а здесь, посреди заросшей травой площади, было тихо, ветерок шевелил волосы.

Под вечер, лежа на холме, видел Вася Замоскворечье, всё в садах, плоты на Москва-реке.

Ослепительно сверкал на закате Кремль.

...Восемнадцать лет назад, в суровую зиму, подходил к Москве юноша, пешком прибредший из-под Архангельска. Первую ночь в Москве провёл крестьянский сын Ломоносов на рыбном рынке, спрятавшись в пустых

клетях. А на утро постучался в двери Славяно-греко-латинской академии. В этой академии три года просидел Васенька, с унынием взирая на решётчатый переплёт окна. А Ломоносов стал учёи и знаменит. В богословском классе хранилась его скамья, изрезанная ножом. Между скамеек ходил дьячок с указкой и бил зевак по пальцам. И нельзя было плакать, а то на горох поставят, ещё в руки камень дадут и держи его навтытяжку. А монах вопрошает:

— Где ангелы сотворены? Отвечай.

В низкое оконце день льёт прощальный свет. Вон воробьи вспорхнули, и жалко дня. Вечер наступит — засадит отец жития читать или, помрачнев вдруг, гаркнет:

— Марш за вином!

И летит Васенька кубарем. А на дворе мороз, снег хрустит. Одежонка ветхая. Стынет над Лобным местом луна, в облака прячется, прогреется — опять выйдет. На Красной площади — ни души. Днём здесь торжище, ночью — молчалив Василий Блаженный. Как ни торопится мальчик, а всё ж, постукивая нога об ногу, постоит, подивится на великолепное здание.

У Китайгородской стены — питейный дом. Люди песни орут, пьяные лежат на снегу. Худо в кабаке и воздух хмельной, но тепло. Паполнит целовальник флягу, три семитки бросит ему Вася, а на те деньги бумаги можно бы купить.

Есть у него заветная тетрадь. Там срисованы Архангельский и Успенский соборы, а любимая звонница на каждом листе. Никому

не ведома та тетрадь, спит на ней Васенька, днём в подряснике носит, у сердца. Пет у него друзей, товарищи — насмешники, водку пьют поповичи, апостола зубрят, нет у Баженова охоты попом быть, а велят..

И, вздохнув, прячет он флягу за пазуху.

Вот если б Ломоносова увидеть, ему бы показал Вася тетрадь. Да где ж его встретишь, в Питербурхе он, при дворе. Тяжело Васе одному, — только радости, что по Москве бродить. А Москва сейчас же за Кремлём и — необъятна. Тихонько, как вор, крадётся он вверх по Тверской. Ох, разъярится отец, а взглянуть хочется...

И вот дом. Совсем другой, чем в Кремле, во всей Москве единственный. Князя Гагарина дом. В окнах огни, тени движутся. Подкатывают к подъезду золочёные колымаги. Выходят из карет жёнки в робах, в завитых, будто снегом осыпанных париках. И мужчины в париках. Бархатные на них кафтаны, сбоку — шляпки. Сразу видно: дворские люди. А лучше всего дом: белокаменный, с террасками. Да разве его на морозе срисуешь!..

Бежит Вася обратно, продрог, а в глазах — дом с колоннами...

И уже не страшен отец. Недолго ему бушевать, напьётся — розгу бросит, начнёт чертей ловить. И не утомится, пока всех в бутылку не загонит. Всхлипывая, достанет мать кашу из печки, повечеряют, а там и спать. Но перед сном Вася убежал к реке и, глотая снежинки, смотрел затуманившимися от слёз глазами на голубую Москву.

Перекликались дозорные:
— Чу-уден град Киев! Сла-авен город Новгород!

Снизу отвечали ленивым басом:
— Велик град Москва..

2

...По окончании академии князь Ухтомский, первый зодчий Москвы, определил Баженова к себе, в архитектурную команду. Помещалась она в Охотном ряду, где торговали жареной требухой, калачами, пряниками. Здесь, в маленьком домике, сходились все двадцать восемь гезелей Ухтомского, и он, являясь, как всегда, точно, в семь утра, ещё при свечах читал ученикам из Витрувия, разъяснял законы перспективы.

Задав уроки, архитектор садился в карету и уезжал.

Москва строилась. Раздвигались её пределы. Через великие грязи Белого города, как по болоту, тянулись вежи будущих улиц. Ветхости были сломаны и свезены в Пикольские лабазы. По проекту славного Варфоломея Растрелли возводили дворец в Кремле, и оттуда доносились крики, ругань, грохот обтесываемых камней.

Сам Ухтомский обновлял здание Арсенала. Работа была тонкая, требовалось художество, и Вася, закинув голову, смотрел, как его учитель, стоя в подвешенной бадье, расписывал стены фресками. Карету Ухтомского видели мчащейся с одной стройки на другую.

Обновлялась Москва. Уже заканчивался Камер-коллежский вал с кордегардиями у застав, наводили мост через Неглинку, по главным делом Ухтомского были деревянные Красные ворота, воздвигнутые по случаю коронации Елизаветы.

Архитектор повторял их в камне.

Рушились последние московские терема, очищались от завали улицы. Шалаши, курные избы, крытые лубьём, с Красной площади переносились в Китай-город. Во избежание пожара только у реки разрешалось ставить горны.

С рассвета шипело раздуваемое мехами пламя, ковали дотемна, пока, оглашая улицы трещотками, не проходила стража. И тогда умолкала расшумевшаяся за день Москва. Усталый, Вася Баженов возвращался домой. Итти надо было через Каменный мост, облепленный коробейниками, торговавшими при свечах. Вася покупал бублик или маковку и плёлся дальше.

Жили теперь Баженовы в Замоскворечье. Из-за перестройки Кремля дьячку отвели домик в Средних Садовниках. Дом был ветхий, окружён садом. Здесь, сидя под яблоней, Вася учил уроки.

Больше всего любил он вечернюю тишину, когда замирали птицы и над потемневшей Москвой текли волнами колокольные звоны. Оставляя книгу на лавке, мальчик выходил за калитку и подолгу смотрел на Кремль.

Всплывала луна. Чернели отражённые в реке шпили башен, купола соборов.

А над всем этим высилась звонница.

Вася жалел, что не мог уже бродить по Ивановой площади, грустно смотрел на прохожих. По бревенчатому настилу, утопавшему в грязи, шли столяры, землекопы, каменщики — рабочий народ. В домах зажигались огни. Пылали костры вдоль Москва-реки. На врытых в землю кольях сушились, как невода, рубахи, люди варили пищу или горлачили озорные песни, а в ответ им, с барж, гружённых тёсом, неслись ругательства плотовщиков.

К полуночи замирала вся эта шумная жизнь. Где-то далеко тренькала балалайка и слышался лай сторожевых псов. Запершись на щеколды, задвинутая ставнями спала Москва.

Не спал Васенька. Лёжа на полатах, он видел в окне серебрившиеся кусты черёмухи и при мерцаньи ночника тайком листал книгу. Прислушиваясь к храпу отца, он замирал, вглядывался в чёрную, вверх задранную бороду отца, смотрел на мать, даже во сне сохранявшую скорбное, забитое выражение лица. Было оно такое доброе, что хотелось вскочить и поцеловать...

...Вместо опостылевших риторик и пиитик, пальцы его дрожа перелистывали хрустящий пергамент Витрувия. Трактат древнеримского зодчего был ему непонятен, он едва ещё по складам разбирал латынь, по планы, чертежи, рисунки величественных зданий восхищали закономерностью линий, предельной своей простотой и стройностью.

В праздники Вася уходил под Девичье поле. Заливной луг тянулся от Москва-реки до Поводевичьего монастыря. Давно, ещё в академии, прочёл Баженов у летописца, как сходились здесь на игрища юноши и умыкали себе жён.

Теперь в лугах паслись стада.

Трава была высокая, по пояс. Черницы косили траву. Работая, они пели. Лежа навзничь, Баженов следил, как плывут облака. В их меняющихся очертаниях он видел громады дворцов. Кружились ласточки. Быстрые их тени касались ресниц. Клонило в сон.

Когда жар спадал, Вася просыпался, с улыбкой смотрел вокруг. На отпылавшем небе стрелой взлетела ввысь колокольня Новодевичьего монастыря. Пятирусная, вся в тонкой резьбе, она венчалась луковкой, с золотым, широко распластанным крестом. Записывая в тетрадь колокольню, Баженов раздумывал о том, как мог строитель возвести столь дивное творенье. Витрувий учит, что ни природный дар без науки, ни одна наука без таланта не могут создать совершенного мастера. Он должен быть преизрядным живописцем, математиком, знать историю, прилежно слушать риторов.

Сдвинув брови, крепко сжав губы, Баженов смотрел прямо перед собой.

Скудна была его жизнь. Где взять разума, силу воли, чтобы в совершенстве превзойти науки?

Вздохнув, Баженов отложил уголёк. По-осеннему прозрачная, голубела даль. Он улыбнулся. Италия была родиной Витрувия, Аристотеля Фиорованти. Он постоянно думал о ней. Сейчас там ночь, звёзды озаряют узкие, в аркадах улицы Болоньи, по которым, сгорбившись, проходил когда-то магистр Фиорованти в шёлковом плаще, с круглой шапочкой на седых волосах...

Мечты так захватили Васю, что он не заметил, как померк день, и очнулся, услышав гулкий удар колокола.

Оседая, звон поплыл над рекой.

Солнце заходило. Лучи зажгли крест, скользнув, стали падать, перерезали луг.

Баженов закрыл тетрадь, медленно пошёл к берегу. У ног водновались травы. Ничего не было вокруг, кроме неба и земли, а в сердце, в шуме крови, во всём теле ощущал он свежесть, кипенье сил. Вложив два пальца в рот, Вася свистнул.

Эхо прокатилось и смолкло.

На берегу был перевоз. Юноша прыгнул на плот и оттолкнулся шестом. Забурлила, запенилась вода. Плот относило теченьем, но Баженов грёб, упираясь ногой в брёвна плота. Хорошо было на реке. Справа — синел Воробьёвский бор, ближе к берегу, между оврагами, поросшими малиной, виднелся Андреев монастырь. Колокола монастыря перезванивались с новодевичьими.

Безлюдно было кругом, только рыбаки бродили с неводом у берегов.

— Бог помочь! — крикнул Вася, и рыбки, приставив ладони к глазам, лениво по-

смотрели в его сторону. Низко пролетела чайка. И чем дальше уплывал Новодевичий монастырь, тем яснее вырисовывались круглые его башни, стрельчатая колокольня. Тень от неё бежала рябью по воде.

Толкнувшись о берег, Баженов вытянул плот на песок и вошёл в лес. Закат сквозил между стволами. Жадно вдыхая смолистый воздух, юноша незаметно для себя погрузился в полутьму чащи. Так, от сосны к сосне шёл он, петляя, как заяц. Хрустели под ногами шишки, порой свист пронёсился по лесу, и Вася, вздрагивая, выпрямлялся. Приходили на ум рассказы о разбойниках, живших на Воробьёвых горах.

Смеркалось. Он поворотил было назад, как вдруг ему почудилось ауканье. Прислушался — тихо. Опять крикнули, по-детски, с испугом. Голоса раздавались справа и слева. Баженов выбрался на полянку и увидел трёх девочек с кузовками, полными грибов. Прижавшись друг к другу, девочки испуганно смотрели на Васю. Старшая, лет десяти, раскрыв рот, замерла от удивления.

Улыбаясь, Вася спросил:

— Пошто шумели? Заблудились?

— Да-а,— протянула старшая, не двигаясь с места,— а всё дурка Пашка: идём да идём. Ещё волк заест...

— Не заест,— уверенно сказал Баженов,— я дорогу знаю. А много набрали?

Девочка приоткрыла кошёлку:

— Во скока. Манька, покажь — он не отымет.

Самая младшая поставила лукошко на зем-

лю и спрятала руки под передник. На всех троих были платки, повязанные по-бабьи, кумачёвые сарафанчики. Девочки были босы и с любопытством рассматривали Васю, обутого в отцовские сапоги.

— Чего ж отымать, я и сам набрал, глядите.

Девочки, как галчата, сунули носы в кошёлку.

— Бе-лые,— покачала головой старшая,— а у нас и сыроежки есть.

Вася посмотрел на неё. Была она русая, с чёрными бровками.

— Звать-то как?

— Груней. А это сестрёнки: Паня да Маша. Она у нас меньшая,— и погладила Машу по голове,— пошли, что ли?

— Пошли.

Идя рядом с Груней, Баженов расспрашивал:

— Чьи вы?

— Мы-та? Долговы. В рядах торгуем.

— Вона где. А как сюда зашли?

— По грибы. Нас дяденька на лодке привёз, обещал оборотить с ловли, да всё нету. Наш тятя богатый,— болтала девочка, уже освоившаяся с Васей,— вызволишь из лесу— алтын подарит.

— Да я вас и так выведу.

Девочка искоса посмотрела на Васю.

— А ты кто ж такой, что алтыном брезгуешь? Барчук?

— Откуда ты взяла?

— Щуплый ты, в кружок стрижен, сапоги носишь. Отгадала?

— Из духовных,— хмуро ответил Вася,— а только я не пою, батя мой, верно, служит, а я вольный, сам по себе,— неожиданно развеселившись, сказал Вася,— я вот рисую, ей-бо, смотри.— И, сев на пенёк, раскрыл тетрадь.

— Видишь,— показывал он,— колокольня?

Груня смотрела с любопытством.

— Новодевичья?

— Она.

— И сам малюешь?

— Сам.

— А не врёшь?..

— Чего ж врать, я и тебя срисую, сиди только смирно.

Груня захлопала в ладоши.

— Ой, умора! — и села на траву.— Пу, ма-люй!

Баженов вынул из кармана уголёк. Мельком глянул вокруг: угасая, догорал закат. Было тихо. В лесу чирикнула птица.

— Синичка-невеличка, куда летишь — что говоришь, всё скажи — не откажи! — закричала Груня.

— Не шевелись,— строго сказал Вася.

Девочка смолкла, сидела неподвижно, положив на колени руки. Был внимателен взгляд её зеленоватых лукавых глаз. «Русалка и есть»,— думал Баженов, старательно вычерчивая круглое, в ямочках, лицо Груни. Пания и Маша, довольные, что нашли провозжатога, взапуски гонялись по берегу.

— Утонете, босявки! — грозила им Груня и, вдруг поднявшись, заглянула в тетрадь.— А ведь схоже, да беда — недосуг мне, тятка хватится — косу выдерет. Ты вот что,— Груня

опустила глаза,—ты приходи к нам... Ладно?—и, раскрасневшаяся, побежала к берегу.—Домой, сестрички!

Посадив девочек на плот, Баженов переправился через реку и теперь следил, как дружно шли они по полю.

Обернувшись, Груня помахала платком.

Вася стоял, смотрел ей вслед, и было у него такое чувство, словно он сам заблудился в лесу.

4

Почью он просыпался, зажигал огонь. Из окна было видно: снег в саду ещё не стаял, чернели деревья, обвисшие сосульками, а ветер был тёплый, и пахло весной. Бледный с бьющимся сердцем лежал он навзничь и, широко раскрыв глаза, старался мысленно проникнуть в тайны стройки.

По по мере того как Баженов входил в работу, выяснялось, что никакой тайны в строительстве нет, а есть математика, расчёт, знание материала. Так, на глазах у всех, работал Ухтомский. Измерял ли он землю или указывал, куда и как класть камень, всё у него было просто и легко. И только когда путали другие, архитектор сердился, топал ногами и, сорвав с себя парик, хлестал им провинившегося по лицу. Работа продолжалась. С удивительной быстротой дом рос, ширился, замирал в предначертанной форме...

Поднявшись засветло, Баженов надел приготовленный с вечера кафтан и сел с книгою на ларь. По не читалось: на душе было тре-

можно. А вокруг всё шло по заведенному порядку: сестра вышивала, мать творила тесто.

Скрипя козловыми сапогами, в горницу вошёл отец. С похмелья дьячок был хмур, сердито расчёсывал бороду.

— Сбирайся.

Мать с причитаниями обняла Васю. Так было, когда недорослем отводили его в академию. И так же, цепляясь за материну юбку, волчонком смотрела сестрица, но тогда Вася шёл в духовные, мог заслужить дьякона. Не то теперь. Чувствуя свою вину, юноша стоял перед матерью растерянный, не зная, что сказать, и, поклонившись земно, вышел. Сердце его сжалось, будто уходил он из дому навсегда, и всё уже было чужое: сад, скамья под яблоней, кусты черёмухи.

У ног вертелся пёс. С ним они бродили по Замоскворецкому кладбищу, и, пока Вася срисовывал памятники, пёс сидел, жарко дыша, любезнивая круглыми своими умными глазами.

Вася погладил его:

— Ну прощай, Полкан, стереги дом.

И оглянулся.

На крылечке, в платке, надетом по-монашески, подперев ладонью щеки, стояла мать. Была она как неживая, а из глаз одна за другой катились слезинки.

— Ладно,— прохрипел отец,— не на век расстаёшься...

Хлопнула калитка сада. Вася опять обернулся: крестясь, мать смотрела ему вслед.

День был хмурый. По небу плыли низкие облака, уныло кричал петух. Кое-где дыми-

лись разложенные с ночи костры. Дремали у рогаток часовые. Москва ещё спала, редкие пешеходы спешили на базар, да на Каменном мосту лежал пьяный, оборванный догола. Стражник толкал его в бок ногой, лежащий, с трудом приподымая опухшее лицо, мычал.

— Ишь упился, прости господи,— сказал дьячок.

Вася взглянул на отца. А разве сам он не пил смертной чаши? По промолчал. Вася всегда терялся, когда отец заговаривал с ним. Так, в молчаньи пересекли они Красную площадь.

На Спасском мосту, перекинутом через ров, окружавший Кремль, отпирались книжные ларьки. Между съестных лавок бродили собаки. Выглянувшее солнце пригревало: из канавы, заваленной отбросами, тянуло гнилью. На паперти Василия Блаженного, лениво перебирая гусли, сидели слепцы. Юродивый, весь в язвах, грыз железную цепь и, приплясывая, гремел веригами. Вокруг, с подвёрнутыми от грязи подолами, стояли бабы и, как мать, подперев ладонями щёки, жалостливо смотрели на юродивого.

Вася достал из бисерного кошелёчка грош, бросил его в поярковый трех нищего.

— Прими Христа-ради...

Юродивый подпрыгнул, заблеял и утих, разглядывая Васю мутными, в бельмах, глазами.

— Свят-свят-свят,— пробормотал юноша и бросился догонять отца, уже скрывавшегося под аркой Воскресенских ворот.

На площади, рядом с часовней Иверской

можно. А вокруг всё шло по заведенному порядку: сестра вышивала, мать творила тесто.

Скрипя козловыми сапогами, в горницу вошёл отец. С похмелья дьячок был хмур, сердито расчёсывал бороду.

— Сбирайся.

Мать с причитаниями обняла Васю. Так было, когда недорослем отводили его в академию. И так же, цепляясь за материну юбку, волчонком смотрела сестрица, но тогда Вася шёл в духовные, мог заслужить дьякона. Не то теперь. Чувствуя свою вину, юноша стоял перед матерью растерянный, не зная, что сказать, и, поклонившись земно, вышел. Сердце его сжалось, будто уходил он из дому навсегда, и всё уже было чужое: сад, скамья под яблоней, кусты черёмухи.

У ног вертелся пёс. С ним они бродили по Замоскворецкому кладбищу, и, пока Вася срисовывал памятники, пёс сидел, жарко дыша, поблескивая круглыми своими умными глазами.

Вася погладил его:

— Ну прощай, Полкан, стереги дом.

И оглянулся.

На крылечке, в платке, надетом по-монашески, подперев ладонью щёки, стояла мать. Была она как неживая, а из глаз одна, за другой катились слезинки.

— Ладно,— прохрипел отец,— не на век расстаёшься...

Хлопнула калитка сада. Вася опять обернулся: крестясь, мать смотрела ему вслед.

День был хмурый. По небу плыли низкие облака, уныло кричал петух. Кое-где дыми-

лись разложенные с ночи костры. Дремали у рогаток часовые. Москва ещё спала, редкие пешеходы спешили на базар, да на Каменном мосту лежал пьяный, оборванный догола. Стражник толкал его в бок ногой, лежащий, с трудом приподымая опухшее лицо, мычал.

— Ишь упился, прости господи,— сказал дьячок.

Вася взглянул на отца. А разве сам он не пил смертной чаши? Но промолчал. Вася всегда терялся, когда отец заговаривал с ним. Так, в молчаньи пересекли они Красную площадь.

На Спасском мосту, перекинутом через ров, окружавший Кремль, отпирались книжные ларьки. Между съестных лавок бродили собаки. Выглянувшее солнце пригревало: из канавы, заваленной отбросами, тянуло гнилью. На паперти Василия Блаженного, лениво перебирая гусли, сидели слепцы. Юродивый, весь в язвах, грыз железную цепь и, приплясывая, гремел веригами. Вокруг, с подвёрнутыми от грязи подолами, стояли бабы и, как мать, подперев ладонями щёки, жалостливо смотрели на юродивого.

Вася достал из бисерного кошелёчка грош, бросил его в поярковый треух нищего.

— Прими Христа-ради...

Юродивый подпрыгнул, заблеял и утих, разглядывая Васю мутными, в бельмах, глазами.

— Свят-свят-свят,— пробормотал юноша и бросился догонять отца, уже скрывавшегося под аркой Воскресенских ворот.

На площади, рядом с часовней Иверской

божьей матери, помещалась Главная аптека, прежде австрия, где нынче должна была открыться университетская гимназия. Около лестницы и у входа толпились родители, держа за руки сыновей, одетых, как Вася, в серые кафтаны. Ждать пришлось недолго. Едва на Спасской башне пробило восемь, как двери гимназии распахнулись, учеников построили парами и повели в храм Казанской богородицы.

Церковь была тут же, у Китайгородской стены. Баженов шёл в паре с бледным, неуверенно шагающим мальчиком. У него был высокий лоб, добрые, немного печальные глаза.

— Мальчик, а мальчик, как тебя звать?

Идущий рядом вздрогнул, улыбка скользнула по тонким его губам:

— Коля Повиков... — запинаясь, ответил он и мелко-мелко закрестился: входили в церковь.

Молебен был долгий. Пели многолетние дарствующей императрице Елизавете Петровне, наследнику — Петру Фёдоровичу. Стоя на коленях, Вася просил бога укрепить его в силе и разуме, а выпрямляясь, слышал голос отца, подтягивающего на клиросе басом.

Было душно. Расстегнув кафтан, Баженов оглянулся и увидел позади себя пухлого мальчика, делающего рожки над его головой. Вася погрозил кулаком. В ответ задира высунул язык и скорчил такую рожу, что Баженов едва не прыснул со смеху. Коля сокрушённо покачал головой:

— Как не стыдно...

— А чего он дразнится!— сказал Баженов.

По окончании молебна воспитанников повели обратно и выстроили шеренгой в университетской зале, где уже сидели в креслах господа сенаторы, главнокомандующий Москвы, окружённый офицерами, с треуголками подмышкой. Среди родителей, робко жавшихся по углам, Вася искал отца и вдруг увидел Ломоносова, медленно всходящего на кафедру.

Всё смолкло. Потрескивали в розетках свечи люстр, зажжённых для торжественности. В окна лился голубой, прозрачный день. От свечей в зале было жарко. Голос Ломоносова, низкий, задыхающийся, обволакивал сонные, отяжелевшие умы вельмож,— а говорил он горячо и увлекаясь, округлял ладонь, словно сжимая яблоко.

Затаив дыхание, Вася слушал речь Ломоносова и невольно тянулся на носках, боясь пропустить слово. От волнения руки его задевели, сердце стучало тревожно. А когда ректор, сменивший Ломоносова, объявил имя Баженова, как отличившегося в изящных искусствах, юноша вздрогнул, и всё поплыло вокруг: белизна стен, лица слушателей, вдруг смазавшиеся, как пятна красок.

Пока читали список, Ломоносов задумчиво смотрел на Баженова. Массивное, словно вырубленное из камня лицо академика было сурово, седые брови сдвинуты. Наклонив голову, он внимательно слушал Ухтомского.

Баженов чувствовал: говорят о нём. И опять перевёл взор на Ломоносова. Был ещё не

стар академик, лет за сорок. В зелёном, усыпанном регалиями мундире, в белых чулках, обтягивающих полные икры, в двуроном анненском парике, казался он Баженову чужим, недоступным вельможей. И было грустно, как от несбывшейся мечты: никогда бы он не осмелился показать свои рисунки Ломоносову...

Ректор выкликал:

— Фонвизин Денис, Старов Иван!..

Пазванный выходил из шеренги и кланялся. Тут только Баженов понял, что забыл выйти, а теперь уже было поздно, вызывали других:

— Повиков Николай, Потёмкин Григорий!..

Вслед за смутившимся Повиковым — шагнул Потёмкин, высокий, широкоплечий юноша с дерзкими голубыми глазами. Было видно, что кафтан ему узок, а когда Потёмкин поклонился, затрещали швы. В зале рассмеялись. С любопытством смотрел Баженов на своих будущих товарищей и нетерпеливо ждал конца церемонии.

После представления главнокомандующему учеников повели обедать. Вася опять очутился рядом с Повиковым. Но разговориться не удалось. Тогда Баженов вынул из кармана бумажку, показал её соседу.

— Ломоносова вирши. Ещё в бытность его в Славяно-латинской академии сложены. Прочтешь?

Повиков испуганно съёжился.

— Не к месту: екзакутор смотрит.

Сидящий рядом с ним Фонвизин, круглолицый, с девическими щёками, русоволосый и улыбающийся, протянул пухлую руку:

— А ну, дай..

Баженов узнал в нём своего обидчика в дерквы, но желание завязать дружбу пересилило.

— погоди, ты не разберёшь, я сам скажу,— и, оглянувшись на эскутора, осторожно пересел к Фонвизину.

Прерывающимся голосом читал он с детства любимое стихотворение:

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши сели,
В радости запали;
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах, плачут убоги,
Мёду полизали,
А сами пропали...

— Ну, каково?— спросил Баженов, аккуратно пряча листок.

Фонвизин молчал. На круглом лице его застыло удивление.

— Премудро,— вздохнул он и повторил в раздумье: «едва стали ясти — попали в напасти...» Как бы нам с тобой не попасть,— улыбнулся он, указывая глазами на служителя.

— Разговоры!— раздался голос эскутора. Все согнулись над своими мисками. Уже с доверием глядя на Васю, Фонвизин сказал:

— Вот вырасту, сам напишу пиесу: трагедию али комедию.

— Добро,— кивнул Баженов,— а только строить лучше. Что ж пиеса, она из букв

слажена, пока её не чтить — пьеса не живёт.

— А на подмостках?

— И то несколько часов, а дворец всегда и виден каждому.

Пожав плечами, Фонвизин отвернулся. Баженов сидел неподвижно, смотря прямо перед собой.

Погружённый в размышления, Вася вздрогнул и обернулся: в трапезную, в сопровождении Ухтомского, вошёл Ломоносов. Все шумно встали. Сделав знак рукой садиться, академик медленно проходил между столов.

В наступившей тишине Ухтомский сказал:

— Михайло Васильевич, презентую вам лучшего моего гезеля.

Около себя Баженов увидел улыбающееся лицо Ломоносова. Было оно издавна знакомо и вместе с тем такое ласковое, что Вася растерялся от неожиданности.

Положив ему руку на плечо, Ломоносов тихо произнёс:

— Премного наслышан... Благодарствую.

Баженов схватил сухую, холодноватую ладонь и, не в силах сдержать порыва, поделовал. На мгновение в глазах Ломоносова мелькнуло недовольство, но тотчас морщинки разгладились: порыв был от души. Словно в раздумье, Ломоносов пожевал губами, хотел ещё что-то сказать и, кивнув Баженову, торопливо пошёл к выходу. Все расступались перед ним, но шёл он ни на кого не глядя, хмурый, с презрительно оттопыренной губой.

Как зачарованный Вася смотрел ему вслед.

— Пу, отроче, поздравляю,— сказал Ухтомский,— теперь ты студиозус. Учись и знай: языки и счёт в нашем деле — суть главное.— Проведя рукой по вьющимся волосам юноши, Ухтомский вышел, а Баженов продолжал стоять, опустив голову.

Заметив его смущенье, Потёмкин усмехнулся:

— Да ты что, никак малюешь? Пустое, брат, дело...

5

Этот день, памятный на всю жизнь, окончился празднеством. С наступлением темноты университет осветился площадками. На хорах гремела музыка, слышался шум шаркающих ног. Баженов бродил по зале, где была устроена потешная галерея. Между столов, поддерживающих портик с гербом основателя Московского университета—графа Шувалова, были расставлены гипсовые фигуры младенцев с книгами, географическими картами, глобусами.

Посреди галереи шумел фонтан.

Вася заглядывал в учительские каморы, поднимался на второй этаж. Отда нигде не было. Остановившись у окна, он смотрел на залитую огнями площадь, на транспарант, изображавший богиню Минерву, воздвигающую на Парнасе обелиск в честь Елизаветы, и думал, что теперь уже не придётся посещать школу Ухтомского. Красные ворота будут достроены без него. Баженов слышал грохот литавров и труб, доносившийся с бапти уни-

верситета, по торжества не ощущал, не с кем было поделиться праздником.

Мимо, обнявшись, прошли Новиков с Фон-визиним. Вася кинулся за ними, но мальчики поспешили скрыться в толпе. Он не обиделся, рассеянно посмотрел им вслед. Так было всегда: в академии и в школе Ухтомского с товарищами Баженов не сближался. Дружил он только с маленьким Казаковым, сыном сенатского писца. С ним они мастерили из досточек рождественские вертепы и продавали их тут же, у Китайгородской стены. По больше всего любил Казаков рассматривать планы, чертежи зданий. От природы молчаливый и застенчивый, в такие минуты он преображался: говорил громко, восхищённо размахивая рукой.

«Завтра всё ему расскажу, — думал Баженов, спускаясь по лестнице к выходу, но, вспомнив о Груне, остановился в нерешительности. — И ей тоже». — Он улыбнулся. Мысль о Груне была не случайна. На другой день после знакомства на Воробьёвых горах, Вася отправился в Пикольские лабазы, где торговали Долговы. Отца Груни Баженов узнал сразу же, по глазам: озорные и весёлые, как у Груни. И добрый, видать, брови хмурит, а сам смеётся. Звали его Лука Иванович. Он насыпал Васе полный картуз пряников и наказал приходить, когда захочет.

С тех пор они с Груней не расставались, вместе ходили на рыбалку, вместе бегали по саду в горелки.

И вдруг ему захотелось увидеть Груню,

сейчас же, сию минуту рассказать ей про встречу с Ломоносовым.

Пакинув плащ, Баженов выбежал на улицу.

Народ не расходился. Привлечённая иллюминацией огромная толпа стояла на площади. Золочёные колымаги плыли, как ладьи, кричали форейтеры, звон литавров оглушал. В Кремль нельзя было пробраться. Баженов свернул на Неглинную.

Было холодно, дул резкий ветер. Подняв воротник плаща, он шёл, проваливаясь в лужи. В темноте хватался за деревья, росшие по берегу Неглинки. Огней здесь не было, только на Каменном мосту сонно мигали два фонаря, и он остановился, облокотившись на перила.

Была ещё скована река, но в сыром воздухе ночи ощущалась близость ледохода. На том берегу сверкал огнями Кремль. Строг и величествен он был в этот час.

Баженов задумался.

Итти к Груне уже было поздно. А домой — не хотелось. Опять пугливый шопот матери, ворчанье отца. Так уж повелось. С детства мечтал Вася стать архитектором, и чужие люди помогали ему в этом. Когда Ухтомский являлся к отцу, дьячок лебезил, кланялся в ноги, но стоило князю уехать, как отец с яростью набрасывался на сына, бил его, осыпал руганью...

Когда же окончательно выяснилось, что попом Васе не бывать, отец искоса, будто впервые, взглянул на него и отвернулся. С того дня они не разговаривали, встречались и расходились молча. И сегодня, отведя Васю

по указу Ухтомского в университет, дьячок не сказал сыну на прощанье ни слова, отслушал молебен и ушёл домой.

Мать плакала, она ничем не могла помочь в разладе отца с сыном, любила и боялась обоих. Пугали её остановившиеся глаза Васеньки, чуть искривленная улыбка, с которой он, как чужой, затаившись, смотрел на пьяного отца. И осторожно выспрашивала: не больно ли дитятко? Нет, он чувствовал себя здоровым, но в душе его не было ничего, кроме ненависти к отцу и мучительной обиды за мать. Он хватал шапку и убегал из дому. Куда? Всё равно, лишь бы не видеть этих глаз, полных муки, не слышать голоса, который пел ему в детстве ещё не забытые слова

Спи, мой пригожий, сокол мой ясный...

Двери «Катка» хлопали не переставая. Так назывался кабак, расположенный на Подоле, вблизи Тайницких ворот. Здесь гуляли потерянные люди. И отсюда, по обледеневшей горке, пьяных скатывали к Москва-реке. Баженов входил, залпом опрокидывал чару. В грудь ударяло теплом. Юноша шёл в Кремль, садился у Приказа, смотрел, как с перьями за ухом спуют писцы в решётчатых его окнах. Серое здание Приказа тянулось от Архангельского собора до Спасских ворот, где вызванивали куранты.

У Красного крыльца сидели гуслиеры. Топкой резьбою были покрыты колонки крыльца. Райские яблоки и ангелы с мечами украшали его. Георгий-победоносец разил змия. Змий был жирный, ехидно поблёскивал мут-

ным, водочного цвета глазом и, задыхаясь от пламени, высовывал раздвоенное жало. Грубо и архаично было расписано крыльцо, но в полустёршихся рисунках жила запечатленная старина, наивный порыв неизвестных мастеров, живописцев из народа, потерянных людей.

О них пели гуслиары.

Здесь, в сердце Москвы, была Русь, то печальное и широкое, что слышалось Васе в былинах странников, в раздумчивом переборе гуслей. И когда он переводил взгляд к зубчатым башням Кремля и выше, в голубизну неба,—солнечный свет, пенье и перезвон колоколов сливались в одно здание.

Баженов пытался зарисовать его. Чертил колонны. Они уходили ввысь. Небо было куполом. И вдруг всё здание рушилось. Понурый, шёл он дальше, на Никольскую. В кривой, грязной улочке сновала толпа. Бойко выкрикивали торговцы сбитнем, жареными пирогами. Чад и шум кружили голову. Сидя на паперти Заиконоспасского монастыря, нищие тянули «Лазаря». Обнажая язвы, хватали за полу кафтана, голосили: «Пода-айте слепенькому христа-ради!»

Подняв голову, Вася невольно замедлял шаг. Перед ним был каменный, будто выросший в землю дом,—академия, где он провёл три года. Вася не жалел их, здесь он познал историю, здесь на языке латинян говорили с ним древние и он впервые услышал строгий голос Витрувия.



ГЛАВА ВТОРАЯ

6

В конце мая 1765 года, возвращаясь из Италии, Баженов приехал в Париж. День угасал. На фоне перламутровых облаков собор Нотр-Дам чернел гигантским утёсом. Блестела Сена. Вдоль берегов её, нагружённых бочонками, покачивались суда. На мачтах сидели чайки. Скрипя, дилижанс въехал на Королевский мост, и взорам Баженова открылась мраморная колоннада Лувра.

Солнце золотило крышу дворца.

Охваченный волнением, Баженов громко повторил стихи Тредиаковского:

Приятный брег! Любезная страна:
Где своєю Нева поток стремится клучине...

Стихи были о Петербурге, случайно вспомнились: Петербурга Баженов не любил.

А здесь всё выглядело иначе. Дилижанс катился по набережной. У Тюильрийского сада цветочницы продавали фиалки. Гремели колёса карет, кричали разносчики. Это был Париж, такой, каким он увидел его впервые, когда приехал сюда учиться...

Давно это было.

Семь лет назад окончен университет, товарищи разбрелись кто куда. Потёмкина с Новиковым ещё раньше исключили за леность и нехождение в классы, а Баженова, по ходатайству Ухтомского, определили в Санктпетербургскую академию художеств. Началось главное: языки и счёт. Языки он учил люто, до зари. А ночь, весенняя ночь в Петербурге, коротка. В мае — июне вовсе нет ночей: светло, как днём. Странно это было после Москвы. До утра не мог он уснуть, всё смотрел в окно на мерцающую белизну улиц. Как не похож Петербург на Москву, как он рвался домой, в тишину бревенчатых переулочков. А Кремль! А гулкие колокольные звоны, он не забыл их, когда, наплывая в синеве вечера, текут они, густые, как мёд. Ах, Москва, Москва!..

Он долго горевал, потом привык и даже стал находить приятность в прямых, словно разграфлённых улицах столицы. Огорчало Баженова, что всё здесь было на иностранный лад. Церкви и те напоминали кирхи и вызывали тоненько, как часы.

Иностранное и русское до неузнаваемости перемешалось в Санктпетербурге. Невская перспектива упиралась вдруг в канаву или рощицу, где по ночам нападали разбойники.

И всюду вода: прозрачная, чуть зеленоватая, как петербургское небо.

Каждое утро, отправляясь в классы, Баженов проходил вдоль Невы. На противоположном берегу архитектор Растреллий воздвигал Зимний дворец. Была видна низкая, в один этаж, кладка, на солнце камень розовел, с порывами ветра доносилось мелодичное перестукивание каменотёсов.

Привольем дышала Нева. Ветер гнал стадо белых барашков, с криком резали воздух чайки. Огибая Васильевский остров, из Финского залива шли гружённые тёсом баржи. Хлопали заплатаемые паруса финских лайб. Силуэт Петропавловской крепости напоминал корабль.

Смутным, как уплывающий корабль, остался Петербург в его памяти.

В Москве он вырос, учился, Петербург всегда был далёк ему, но сейчас, проезжая по темнеющим улицам Парижа, Баженов думал о родине с чувством волнения, понятным только на чужбине.

Почтальон протрубил в рожок, и карета свернула во двор бюро дилижансов.

7

С баулами в руках Баженов шёл, внимательно разглядывая номера домов.

До поездки в Италию он жил где-то здесь, на улице Лувра.

В сумерках, окутавших Париж фиолетовыми тенями, все его здания казались одина-

ковыми: гребенчатые кровли, балконы, увитые плющом.

Баженов поставил баулы на землю и оглянулся.

Широко развернув фасад, Лувр сливался с тюильрийским парком. Цвели каштаны. Их пирамидальные свечи раскачивались в густой зелени листвы. А на западе, где аела заря, была видна пустынная площадь Людовика Пятнадцатого с крылатыми конями, застывшими в прозрачности весеннего воздуха.

Часы на павильоне Лувра пробили восемь.

Последний удар расплылся в тишине.

Улицы пустели. Вбитые в стены фонари едва освещали кирпичные тротуары, по которым гулко разносились шаги Баженова. На перекрёстке мелькнула и скрылась тень женщины в маске.

Баженову она напомнила Италию.

В дни карнавалов он любил бродить переряженным в толпе. На нём были чёрное домино, белая маска, называемая в Венеции «баутта», и треуголка, обшитая галуном. В таком виде он входил в Ридотто, игорную залу, где толпа «баутт» окружала сенатора, мечущего банк. Пламя розовых свечей отражалось в хрустальных люстрах, в гранях венецианских изогнутых зеркал.

А на площадях, превращённых в сцену кукольного театра, кувыркались арлекины, пищал длинноносый Пульчинелли. Свистя, обвивались вокруг колонн змейки лент. Из окон свешивались пунцовые ковры, шёлковые тканые гобелены. На балконах женщины в кружевных мантильях бросали в толпу гипсовые

кофетти. Разрывая ночь вспышками, лопа-лись ракеты. Дождь огненных звёзд на мгнове-нье озарял яшмовые воды каналов. Со всех сторон, не умолкая, гремели димбалы, флейты, лютни...

Веселье переходило в оргию. Уже нельзя было разгадать, что таится в картонных же-стах арлекина: объяснение в любви, шутка или месть. В одном из тёмных переулков Баже-нов наткнулся на труп с кинжалом в груди.

Ужас охватил Баженова. Сорвав маску, он вбежал, задыхаясь, к себе в каморку и дваж-ды повернул в дверях ключ. За окнами, в полусгнившие сваи дома, плескала вода. Тень гондольера с веслом в руке проплыла по зеле-новатой стене палатко. Мир с его соблазнами был где-то рядом, скользил неслышно, как гондола. Иногда этот мир вторгался в камор-ку звуком поцелуя влюблённых, остановив-шихся под балконом. Часы на площади свя-того Марка пробили полночь. Обнявшись, влюблённые прощались, шаги их таяли, за-мирали на каменных плитах...

И вот он снова в Париже.

Баженов свернул за угол. Где-то здесь дол-жна быть гостиница «Золотой кролик». Он увидел фонарь, раскачивающийся на желез-ном шесте, и пошёл на огонёк. На душе было легко. Петербург, в этот час мирно дремлющий в дымке белой ночи, шумная Венеция, вдруг ожившая смехом и говором толпы, улицы Парижа, по которым он шёл, напевая, всё это было так прекрасно, что он не чувствовал усталости, словно и не было двухнедельного утомительного пути в карете.

В трактире «Золотой кролик» Баженов заказал вина и, поднявшись в отведённую комнату, принялся ходить из угла в угол.

Потрескивая, горела свеча.

Остановливаясь у зеркала, Баженов видел своё лицо, смуглое от загара. Было что-то женственное в его облике, в припухших губах и дугообразном взлёте бровей. Волосы, зачёсанные кверху, вились, он их пудрил, но камзол был в пятнах, кружева манжет порваны. Нет денег: всегда одна и та же песня. Деньги из академии высылали по третям, неаккуратно.

А за последнее время вовсе перестали присылать.

...Четыре года назад Санктпетербургская академия художеств отправила его в Париж для совершенствования в архитектуре. Вместе с Лосенко, учеником по классу живописи, они жили здесь же, неподалеку от Лувра.

Антон Лосенко, писавший картину «Чудесный лов рыбы», любил по вечерам играть на скрипке. Заслышав музыку, являлись хозяйки мансарды, молоденькие прачки: Жанетта и Нинон. Смеясь, они начинали кружиться в танце. Их накрахмаленные юбки мелькали среди разбросанных повсюду чертежей и гипсовых слепков...

Шагая по комнате, Баженов с улыбкой вспоминал теперь их проказы в обществе весёлых хозяек. Старшая из девиц — Жанетта — нравилась ему, Лосенко увлекался Нинон. Вчетвером они пировали в трактире «Золотой кролик» в те редкие дни, когда случались деньги.

Баженов снял со свечи нагар, стал рыться в баулах. Давно, ещё перед отъездом в Италию, он набросал портрет Жанетты, но сейчас не мог её вспомнить, и вдруг, закрыв глаза, он представил себе вечер, предзакатную тишину реки, девочку в кумачовом сарафанчике, сидевшую на берегу. Где он это видел? На картине? Во сне? Непонятное возбуждение охватило его. Девочку звали Груней. Зимой они катались с гор, летом плели из ромашек венки и, кидая их в реку, следили: чей потонет скорее — тому и жить меньше. Случалось, что грунии веноч скрывался под водой раньше, и Вася, утешая подругу, говорил: «Не робей, уже вырасту — женюсь на тебе». Груня улыбалась. А когда она, смеясь, хлопала в ладоши — голос её звенел колокольчиком...

Взволнованный, он прошёлся по комнате, налил вина.

Это была юность. Он ощущал её, трепещущую как голубь в руке, она была в свежести весеннего вечера, в запахе каштанов, проникавшем с улицы.

За окнами прохладно шумела листва.

Баженов залпом выпил вино и опустился в кресло. Значит, все эти годы он думал о Груне, и даже тогда, когда взрослым гулял с Жанеттой по улицам Парижа, образ русской девочки продолжал жить в его сердце без напоминаний, сам по себе, чтобы сейчас, вдалеке от Груни — вспыхнуть и загореться с новой силой...

Зашипев, погасла свеча. Баженов встал, подошёл к окну. Париж спал. Луна заливала

Лувр серебром. Стоя у окна, он всматривался в хоровод колонн. Издали они казались ему прозрачными.

Было тихо. Временами проезжала запоздавшая карета. Свет фонарей колесом проходил по потолку, и всё смолкало. Трещал сверчок. Напротив, в раскрытом окне, слышалась музыка. Под аккомпанемент клавесин женский голос пел о любви.

8

На другой день, захватив папку с рисунками, Баженов отправился к своему учителю, королевскому архитектору, Шарлю де Вальи.

Было ясное утро. В небе — ни облачка. Все балконы распахнуты, и в окнах с приподнятыми жалюзи — оживлённые лица. Он шёл, раздумывая, как его примет учитель.

Дружба их началась не сразу. Когда Баженов, ещё будучи студентом, в первые дни своего пребывания в Париже, принёс Шарлю де Вальи модель храма Весты, француз не поверил:

«Мсье Базиль изволит шутить», — сказал он холодно.

По убедившись, что это не шутка, что всё свободное время студент проводит над сооружениями из дерева античных моделей, архитектор сдержанно похвалил Баженова. Наблюдательность и трудолюбие были достойны одобрения, однако, де Вальи считал, что подлинный художник тот, кто, овладев мастерством, создаёт новые ценности. Он стал приглядываться к ученику.

После присуждения Баженову золотой медали Парижской академии, де Вальи, настаивавший на этой награде, начал торопить ученика с отъездом в Рим. Будучи иностранцем, Баженов не имел права на Prix de Rome¹. Де Вальи написал в Петербург. Уведомлённый об успехах пенсионера, президент Санктпетербургской академии — Шувалов — поздравил Баженова со званием адъюнкта и, выслав тысячу рублей, разрешил ехать в Рим...

Два года, проведённые Баженовым в Италии, не изменили его. Он остался тем же прилежным учеником, каким был в мастерской Шарля де Вальи. Всё утро просиживал за лекциями, а после уроков бродил по улицам Рима, зарисовывая памятники старины.

Развалины античных храмов, поросшие мхом колонны, — их он разыскивал среди христианских базилик. Сюда, в эти укромные уголки, он уходил работать. Обветшалый портик в зелени винограда, шум мутного Тибра, пробегающего под горбатыми мостами, говорили ему об исчезнувшей жизни. Рисуя в тени тёмных, звонко шелестящих лавров, он видел синеву Альбанских гор. Когда заходило солнце, Рим с его бесчисленными церквями, рвущимися в небо кампанилами, казался Баженову отлитым из одного куска расплавленной бронзы.

Наиболее частые прогулки совершал он на площадь Треви, где фонтан Сальви льёт свои прозрачные воды. Стоя под арками, Баженов

¹ Римский приз, то есть поездка в Италию.

перелистывал шуршащие картоны, копии с мадонн Джото, Рафаэля-Санцио, но больше всего нравились ему гравюры Джиаambatиста Пиранези.

На них было изображено то, что он сам искал в Риме: колонны, руины, портики языческих храмов.

Разглядывая гравюры, Баженов испытывал смущенье. Никогда ему в своих зарисовках не достигнуть мастерства Пиранези, где размах фантазии умерялся точным соблюдением канонов. Пseudовлетворённость сменялась отчаяньем.

Надо было родиться в Италии, чтобы стать вторым Пиранези или Бернини, чья колоннада вокруг собора Петра напоминала марморную рошу.

...Баженов снял шляпу, провёл рукой по волосам. Было жарко. Ветерок разносил запахи цветущих яблонь, майская свежесть ласкала лицо, и вдруг открылась Сена, туманный берег за ней, а ещё дальше: кровли, сады, купола...

Он остановился, облокотившись на перила моста. На солнце река переливалась голубизной. Поскрипывали привязанные к сваям ялики. Воды Тибра бурны, с рёвом они устремляются под аркады римских мостов. Здесь всё выглядело иначе, воздушнее,— дома на левом берегу казались сотканными из паутины.

Набережная бурлила весенним потоком гуляющих. Мелькали в толпе фиолетовые сутаны аббатов. Раскланиваясь у портшезов, они галантно снимали треуголки. Дамы, в

мушках и фижмах, обмахивались веерами. У всех на груди были цветы. Сладким дымком чадили жаровни торговцев каштанами, под мостом проплывали баржи, по бревенчатому настилу дробно катились кареты. «Гарр! Гарр!»¹ — кричали кучера и щёлкали бичами.

Пробираясь сквозь толпу зевак, обступивших уличного фокусника, Баженов свернул во двор. Здесь, во втором этаже, была мастерская Шарля де Вальи. Окна её выходили на набережную. Входя по лестнице, Баженов нагнулся и, прижав папку коленом, затянул на тупле развязавшийся бант. Сколько раз, стоя на этой площадке перед дверью с бронзовым молотком, юноша собирался с духом, прежде чем постучать.

Дверь открыл сам де Вальи.

Француз был в шелковом камзоле, без парика, тщательно выбритый, надушенный.

Обхватив Баженова за талию, архитектор ввёл его в мастерскую, где стоял мольберт, завешенный полотном.

— Сюда, мессере, сюда, — говорил Шарль де Вальи, увлекая Баженова к окну.

И, отдернув штору, покачал головой:

— Итальянец! Открыватель земель!

Баженов протянул папку.

— Посмотрите. К сожалению, мэтр, я ничего не открыл. Даже самого себя.

Он говорил по-французски легко, дрожащим от волнения голосом, на лице его, загоревшем и обветренном, проступил румянец.

¹ Берегись! (франц.).

Он был красив, этот русский, с пышными, чуть вьющимися волосами.

Улыбаясь, де Вальи разглядывал ученика.

— Ах, вот как! — сказал он и, взяв с кресла парик, надел себе на голову. — Но, мсье Базиль, все открытия в архитектуре уже сделаны, нам остаётся согласовать эти принципы в своей работе. Их немного, мой друг: ясность, закономерность, точная организация пространства. Следуя античным канонам, мы очистим здание от завитушек барокко и вернём миру благородную простоту древнего зодчества. Садитесь, — машинально закончил он, как на уроке, и, развернув папку, поднёс к глазам лорнет.

Баженев сел на кончик кресла. В мастерской всё было попрежнему и вместе с тем всё выглядело иначе, будто расширилось светом окно, за которым, шелестя, поблёскивала Сена. Тикали часы. Обгоняя удары маятника, гулко билось сердце Баженова. Сюда, в эту мастерскую, он впервые принёс учителю свою модель храма Весты. Здесь, на ковре, они измеряли статую Венеры, привезённую из Геркуланума. На стенах, обитых штофом, висели в тяжёлых рамах портреты короля Людовика Пятнадцатого и мадам Дюбарри с мальчишеской причёской и полуобнажённой грудью.

Внезапно, отбросив папку, франдуз встал и, скрипя туфлями, прошёлся по мастерской. Лицо его было строго, брови сдвинуты. Испуганный Баженев приподнялся с кресла. Круто остановившись, Шарль де Вальи пристально, не мигая, смотрел в побледневшее лицо

ученика, затем молча приблизился и поцеловал его в лоб.

— Мэтр,— смущённо пробормотал Баженов. Он даже растерялся, видя всегда насмешливого француза растроганным.

Де Вальи сказал:

— Из нас двоих, мэтр вы, Баженов. Ваш учитель склоняется перед своим учеником. Я только ремесленник, вам суждено создать бессмертные творения!..

И, не дав Баженову возразить, он заключил:

— Я представлю вас королю.

9

Приём кончался.

По лестнице с золочёными перилами Баженова ввели в кабинет посланника. Окна были раскрыты. У входа Баженов остановился, почистил рукавом воротник кафтана. Шитый галуном, он потускнел уже, да и сукно из зелёного стадо по швам серым.

В этом кафтане он выехал из Петербурга четыре года назад.

С тех пор многое переменилось на родине. Умерла императрица Елизавета, а шесть месяцев спустя,—наследник её, Пётр Фёдорович. В итальянских газетах Баженов прочёл о внезапной кончине Петра Третьего и о восшествии на престол супруги его, Екатерины Алексеевны.

Баженов никогда не видел новой императрицы. Пад камином, прямо у входа, висел её портрет. Он изображал молодую женщину

в короне на пышно взбитых волосах. Удлиненное, как на полотнах Эль-Греко, лицо Екатерины приветливо улыбалось. Баженов подошёл ближе. Было в нём, в этом румянном лице с резко очерченным подбородком, что-то вызывающее, одновременно девическое и порочное. Погружённый в рассматривание портрета, Баженов не сразу заметил сидящего за бюро советника посольства.

Это был маленький старичок, в туго завитом парике, с бриллиантовым крестом в петлице фрака. Прищуренными глазками он окинул посетителя и, кашлянув, отложил перо.

— Чем могу служить?

Баженов объяснил. Срок его пачпорта, выданного для проживания в чужих краях, кончился в генваре сего, 1765 года. Из Рима он просил продления, но ответа не последовало. В настоящее время он ходатайствует о выписке ему подорожной для возвращения на родину.

— Должен присовокупить, что назначенного мне пенсиона я не получаю уже три месяца.

Резкость тона, каким были произнесены последние слова, заставили советника настроиться.

— Та-ак, — недоверчиво протянул он, — что же вы, сударь, стоите, садитесь.

Баженов поблагодарил, но остался стоять. Его возмутил высокомерный жест, с которым, не глядя, было указано на кресло.

Что-то бормоча про себя, старик рылся в папках.

— Не могу взять в толк, где ваша бумага. Помнится, я смотрел её: Буженинов, не так ли, Сергей Миронов, каретных дел мастер?..

— Моя фамилия Баженов.

— Мм... скажите пожалуйста. И не родственник?

— Нет.

С минуту советник раздумывал.

— Проверим,— кивнул он и взялся за перо,— ваше имя-отечество?

Баженов сел, небрежно откинулся в кресле.

— Василий, сын Иванов.

— Годов от роду?

— Двадцать семь.

— Занятие?

— Архитектор. Санктпетербургской академии трёх знатнейших художеств адъюнкт. Профессор Болонской, Римской, Флорентинской академий. Угодно будет осмотреть мои дипломы?

— Не нужно. Отвечайте, откуда родом?

— Села Дольское, Калужской губернии. Жительство имею в Москве.

— Звание?

— Из духовных.

Советник бросил перо, вынул табакерку, раздражённо постучал пальцами по крышке.

— Так чего ж ты, братец, хочешь?

Баженов вспыхнул. Голос его стал резким, отрывистым.

— Я уже докладывал: желаю возвращения на родину. Не имея чести знать вашего чина, должен заметить, что титул адъюнкта Императорской академии дает мне ранг прапор-

щика, а следовательно, дворянское, сударь, звание, о чём прошу не забывать!

Советник встал, поправил на груди крест. Поднялся с кресел Баженов. Мгновение они пристально смотрели друг на друга. Пальцы советника, перебиравшего бумаги, дрожали. Баженов был бледен, стоял неподвижно, стиснув валик кресла. Советник первый опустил глаза.

— Хорошо,— сказал он тихо,— я доложу о вас князю, а сейчас не взыщите, недосуг мне,— и тряхнул колокольчиком.

На пороге появился секретарь.

— Фёдор Васильевич, я уезжаю, займись с гос-по-дином профессором.

Баженов кусал губы. Собрав бумаги, старик быстро пошёл к дверям. Здесь он обернулся и, смерив Баженова с головы до ног, сказал, криво улыбаясь:

— Видно, что пребывание за границею не научило вас, сударь, почтению к старшим, а посему я не со-ве-товал бы вам возвращаться в Россию.

Баженов церемонно поклонился:

— За совет премного благодарен, но лучше будет, ежели вы, сударь, останетесь здесь, а я вернусь на родину.

Дверь захлопнулась, и Баженов расхохотался. Но тотчас лицо его стало серьёзным. «Скотина»,— пробормотал он сквозь зубы. Вынув фуляр, Баженов вытер мокрое лицо. Взволнованно прошёлся по приёмной, остановился у окна. Он слышал, как прогремела отъезжавшая карета, и, обернувшись, увидел молодого человека.

Это был секретарь, провожавший советника. Молодой человек пристально и, как казалось Баженову, восторженно смотрел на него.

— Вы Баженов?

— Да.

Секретарь протянул руку.

— Щастлив познакомиться. А меня зовут Каржавин, Фёдор Васильевич.

— Как прикажете вас титуловать?— не то с насмешкой, не то с раздражением спросил Баженов.

Румяное лицо юноши расплылось в улыбке.

— А никак. В настоящее время я переводчик при посольстве, в прошлом—сочинитель, художник, аптекарь,— Каржавин махнул рукой,— всего не перечесть, а родом я из Москвы, сын торговца железом, что из самого звука фамилии явствует, обучался в Париже негодиям по желанию батюшки и под наблюдением дяди моего, сочинителя и вольнодумца. Однако негодии противны моей натуре...

В словах, в самом голосе Каржавина было что-то располагающее. Баженов с интересом смотрел на молодого человека. На нём был синий в полоску кафтан, бледнорозовый жилет, шёлковые чулки, туфли с бантами. Папудренный парик открывал высокий лоб с близко сдвинутыми бровями. Взгляд был смелый, решительный, во всей его фигуре чувствовалась сила, уверенность в себе, и только глаза, голубовато-прозрачные, были неподвижны, почти безжизненны.

— А простите за любопытство,— улыбнулся Баженов,— сколько вам лет?

— Двадцать минуло. По речь не обо мне, — с жаром продолжал юноша, — я рад, безгранично счастлив первым приветствовать вас на чужбине.

Баженов взглянул ему в глаза.

— Скажите, вы это... взаправду?

— Нет, — рассмеялся Каржавин, — по поручению господина советника. Чудак вы! Да если б вы знали, как я ждал вас. Следил издали за вашими успехами и радовался, словно я, а не вы заслужили всю славу. Но расскажите о себе. Какие у вас планы? В Париж надолго?

— Прошусь домой.

— Слышал. Об этом будем говорить. Следуйте милость, садитесь.

Баженов сел, а Каржавин, помахав рукой, выбежал из приёмной. Через минуту он вернулся с подносом, на котором перезванивались бутылка и два бокала.

— За встречу, — сказал он улыбаясь.

И, разлив вино, поднял бокал.

— Российского Ньютона честь! — провозгласил Каржавин. — Помните, как это у Ломоносова:

О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!..

Медленно отпивая вино, Каржавин рассказывал новости. Растрелли закончил Зимний дворец. В Петербурге говорят: чудо хорош.

Готовится торжественная инаугурация¹ Академии художеств. Президентом академии уже не Шувалов, а любимец императрицы — Иван Иванович Бедкий — человек немецкий..

— Читал об этом, — сказал Баженов.

— И о смерти Петра Третьего читали?

«Испытывает», — подумал Баженов, а вслух сказал: — Поелику известно мне — государь-император умер от геморроидальной колики. Так было объявлено в манифесте.

Каржавин поставил бокал.

— Да вы, я вижу, Василий Иванович, совсем иноземцем заделались. Убили его! Вилкой проткнули горло! Федька Барятинский да Орлов, Алексей Григорич. За оную услугу братья Орловы пожалованы графами Российской империи..

Каржавин вскочил, возбуждённо прошёлся по комнате.

— У нас всегда так, — глухо продолжал он, — подлецам чины, звёзды, сотни крестьянских душ, а честных людей в Сибирь шлют, соболей ловить. Дядюшка мой Ерофей Пикитыч за одну челобитную императрице Елизавете был упрятан в каземат, а после едва ноги унёс в Париж. Горячий человек, я вас беспременно сведу с ним, истинно русский, не унывающий духом. И я такой же, весь в него...

«Зачем он мне это говорит?» — недоумевал Баженов и вместе с тем нутром, сердцем чувствовал всё возрастающее доверие к собеседнику. Неприятен был только взгляд Кар-

¹ Открытие, освящение.

жавина, тяжёлый, неподвижно устремлённый в одну точку. Чтобы переменить разговор, Баженов спросил:

— А скажите, что слышно о Лосенко?

Каржавин пожал плечами.

— Да ничего. Как попал в Петербург — так заглох. Писали мне, что картина его «Чудесный лов рыбы» не понравилась. Оно и понятно: хохлов не любят в священном граде Петрополисе. Для сего надо быть сладкогласным утешителем на манер графа Разумовского. При Елизавете — Разумовские, при Екатерине — Орловы. Так есть и так будет, доколе гражданство не вырвет из рук тиранов бразды самочинного правления. А сие будет! — оживился Каржавин. — О том у энциклопедистов между строк узрите... Да-с, сударь, — говорил Каржавин, расхаживая по комнате, — на смену Вольтеровым каламбурам идёт век Руссовых рассуждений. Читали вы его последнюю речь?

— Читал и много думал.

— А помните такое место: «Вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому?..»

— Очень помню, — ответил Баженов, вставая. Каржавин положил ему руку на плечо.

— Василий Иванович, — сказал он тихо, — не ездите в Россию...

С минуту они пристально смотрели друг другу в глаза. Опустив голову, Каржавин едва слышно добавил:

— Сгинете...

Баженов закусил губу. Он чувствовал, что этот человек говорит искренно, от души.

— За доброту сердечно благодарен, верю вам, знаю, читал и слышан о многом из того, в чём вы изволили меня упреждать, а не могу, без родины — не могу. Ласкаюсь послужить ей трудами.

Вздыхнув, Каржавин сказал:

— Ваша правда,— и, подняв голову, улыбнулся,— может, и я вскорости вернусь...

— Щастлив буду,— взволнованно сказал Баженов.

Сообщив, что деньги и паспорт ему доставят на дом, Каржавин проводил гостя до дверей и откланялся.

10

Разговор с Каржавиным не выходил у Баженова из головы. Он думал о нём весь следующий день, думал и сейчас, сидя в карете, катившейся по версальской дороге.

Мимо окон, шелестя, проплывали стриженные вязы. Туман подымался над полями. В лугах паслись стада, лениво позвякивали колокольцами, и всё здесь было чужое: черепичные кровли ферм, встречные крестьянки в деревянных, громко щёлкающих сабо.

Иредка вскидывая лорнет, Шарль де Вальи наставлял ученика, как ему вести себя в присутствии короля: вопросов не задавать, отвечать коротко и почтительно...

Баженов рассеянно слушал, но думал о другом: о Москве, о товарище детства Казакове. Вспомнилась Груня. При мысли о ней его охватывало чувство лёгкости, затаён-

ного счастья. Привстав, он опустил стекло кареты. Повеяло свежестью. Это был запах земли, первых всходов.

Неожиданно для себя он сказал:

— А у нас теперь хорошо...

Де Вальи удивлённо приподнял брови. Откинувшись на сиденья, Баженов рассказывал учителю о Москве, об их домике в Средних Садовниках. Скоро там зацветут вишни. В трёх шагах от дома — церковь св. Климента, куда он ходил с матерью ко всеобщей...

Говоря по-французски, Баженов чувствовал: невозможно передать чужими словами всё то, что вставало перед ним в запечатленных с детства образах. Шарль де Вальи вежливо улыбался. При упоминании о церкви св. Климента он кивнул напудренной головой. Из всего того, что Баженов рассказывал, только это католическое имя было понятно де Вальи. Заметив его односложные ответы, Баженов нахмурился и замолчал.

Карета слегка покачивалась, дребезжали стёкла.

Туман почти рассеялся, и за пригорком, отливающим в ложбине синевой, блеснула золочёная ограда.

— Версаль,— строго сказал де Вальи.

Карета остановилась. Дверца скрипнула, и француз, вышедший первым, принял от учителя папку с рисунками. Взяв плащ и треуголку, Баженов последовал за учителем. Аллея платанов вела к решётке с гербами. За оградой расстилался передний двор, заставленный каретами, берлинами, портшезами.

Был полдень. В небе шли волокнистые

облака. Поправляя парик, Баженов стравивал с плеч пудру. Парадный костюм стеснял его. Атласный, скрипящий от малейшего движения кафтан был узок в талии. Чтобы не смять кружев, всю дорогу он сидел вытянувшись, широко расставив ноги в красных туфлях с бронзовыми пряжками.

Пакануне, в поисках костюма, Баженов с домоуправителем Шарля де Вальи объездили десятки лавок Сен-Антуанского квартала. Платил за все учитель. Сейчас он стоял, натягивая перчатки, великолепный в своём гофрированном жабо, с тростью подмышкой.

— Пройдёмте в парк,— сказал де Вальи.

У ворот, где трубила крылатая слава, дежурили лейб-гвардейцы королевы. Они были в сине-красных мундирах, с гетрами до колен. Великаны-гвардейцы не раз выталкивали Баженова за ограду, когда он, будучи студентом Парижской академии, приезжал рисовать Версаль. Двое часовых, скрестив мушкетеры, преградили путь. Де Вальи вынул из жилета пропуск, протянул его офицеру. Завитой лейтенант отсалютовал шпагой, и ружья опустились.

Опираясь на трость, Шарль де Вальи шёл с Баженовым по главной аллее. Дворец был позади. Мраморная лестница вела к фонтану Латоны. Каскад, бьющий вокруг богини, окутывал её струящимися потоками. Они остановились у водоёма. Брызги кропили лицо. Баженов молчал, сосредоточенно рассматривал дворец.

Он был построен покоем. Со стороны парка Версаль выступал ровным прямоугольником,

украшенным барельефами, статуями, вазонами. Верхний этаж блестел позолотой. Кованые решётки окружали балконы. У перил толпились люди в париках, с лентами через грудь.

Де Вальи вынул золотой брегет¹.

— У нас ещё есть время,— сказал он,— спустимся в партер.

От Латоны расходились две дорожки: Летняя и Осенняя. Направо уходила аллея фонтанов, налево была видна оранжерея.

Они пошли прямо.

По обеим сторонам расстился партер.

В рамке его зелени серебрились два искусственных озера. Формой своей они напоминали зеркала. По гладкой, чуть рябищей поверхности плавали лебеди. Изогнув шеи, словно прислушиваясь к голосам, птицы резко поворачивались, ускользали к другому берегу.

— Здесь начинается Королевская аллея,— объявлял де Вальи.

Пересекая друг друга, аллеи были усыпаны жёлтым, скрипящим под ногами песком. Статуи нимф сверкали белизной мрамора. Улыбаясь, они указывали в глубину парка, где дымился фонтан Аполлона, выезжавшего на колеснице навстречу своей матери — Латоне. За стриженными боскетами открывался вид на поля Франции, тянувшиеся так далеко, что небо и зелень травы, сливаясь у горизонта, напоминали море.

Кругом шумела вода. На солнце водяная пыль отсвечивала радугой.

— Чудесно,— сказал Баженов. Не отрыва-

¹ Часы.

ясь, он смотрел на дворец, казавшийся отсюда узкой полоской золота. Линия фасада, расчленённая сдвоенными колоннами, боскеты и фонтаны, статуи среди газонов — всё, что на огромном пространстве было создано различными мастерами, поражало стройностью замысла.

Нигде в Италии парки не раскрывали перед Баженовым такой перспективы. Римские сады, вьющиеся по холмам, прятали зданье, здесь всё пространство служило единому центру — дворцу. Подняв голову, Баженов увидел пролетевшую над собой ласточку и улыбнулся.

Де Вальи изумлённо посмотрел на него.

— Не кажется ли вам, — сказал Баженов, — что даже эта птица предусмотрена планом?

— Вы правы, — ответил де Вальи, — лично я предпочитаю английский парк регулярному. Все эти строения, — он указал тростью на беседки, храмики, вольеры, — несравненно выиграли бы на фоне естественной природы. Древние это знали.

Подумав, он добавил:

— А сам дворец слишком перегружен статуями. Вы не находите?

Баженов молчал.

— О чём вы мечтаете? — спросил де Вальи.

— Ни о чём. Разве можно мечтать, глядя на этот дворец. Архитектор, вычертивший линию фасада, сгруппировавший квадраты флигелей, которые так легки, что их хочется поставить на ладонь, — не был мечтателем,

он был великим художником, гением, божеством...

Баженов говорил громким, взволнованным голосом. В нём просыпалась жажда видеть, осязать, впитывать в себя красоту, сердце его глухо билось, слёзы застилали глаза. Это были одновременно восторг и мучительное чувство бессилия. Ничтожными казались Баженову его чертежи, зарисовки, и сам себе он казался жалким копировальщиком, способным всю жизнь только срисовывать и подражать.

Бледный стоял он, закусив губы, почти с испугом глядя на расстилавшийся перед ним парк, на нежные краски неба и строений, слившихся в недостижимой гармонии совершенства.

— И всё-таки вы не правы, мой друг,— вздохнув, сказал де Вальи,— в мире достаточно места для мечты.

Баженов ничего не ответил. Архитектор положил ему руку на плечо:

— Вернёмся.

Они тронулись обратно. Поглядывая искоса на спутника, Шарль де Вальи озабоченно поджимал губы. Этот русский был одержим странным неверием в себя, в свои творческие силы. На экзаменах, среди восхищённого шопота профессоров, он вдруг начинал растерянно бормотать что-то на непонятном своём языке. Руки его тряслись, юноша не мог провести ни одной линии и, бросив циркуль, выбегал из класса. Огромный талант, может быть, гений, Баженов, как лунатик, ошупью, приближался к какой-то предельной

для него черте и неожиданно замирал, охваченный бессилием.

Молча они подходили к Латоне.

Дворца не было видно, холм скрывал его. Поднимаясь по боковой лестнице, Баженов увидел перед собой внезапно возникший дворец и остановился, поражённый.

Используя случай заговорить, де Вальи с жаром принялся за объяснения:

— В этом эффекте — секрет планировки Версаля. Вспомните, когда мы шли с вами от дворца, фонтана не было заметно, он закрыт лестницей. Латона вырастает перед вами, когда вы приближаетесь вплотную. Внизу, — продолжал де Вальи, — статуи и фонтаны огромны, это античный мир, застывший в придворных позах, но если вы посмотрите на статуи сверху, то это не что иное, как пятна, указывающие членение партера.

Баженов перегнулся через балюстраду. Клумбы и радиус аллей, только что удивлявшие его своей шириной, казались отсюда сдвинувшимися, как на шахматной доске.

Де Вальи говорил:

— Дворец и парк в полной зависимости от человека и перемещаются по мере движения короля.

Баженов провёл рукой по волосам.

— Ибо центр Версаля — король, — закончил де Вальи.

С минуту Баженов стоял неподвижно, словно прислушиваясь к неясным ещё мыслям, возникавшим в ответ на слова учителя. Ему казалось, что теперь он всё видит иначе, чем раньше, в каком-то призрачном, отра-

жённом свете. Солнце скрылось, и на партер легли тени. Свет, пробивавшийся сквозь облако, падал на землю косым, спелым снопом ржи. «Вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому...» Эти слова он прочёл давно, но только теперь их смысл достиг его сознания.

Баженов повернулся, медленно пошёл за учителем.

Выглянувшее солнце ударило в окна дворца.

Из журнала Баженова

Париж, Майя, тридцатого дня

Как было условлено, король принял нас при выходе. Его величество, Лудовик Пятнадцатый, христианнейший король Франдии и Паварры — изрядного росту, тучен, у него жирная шея, круглые, на выкате, глаза. Разговаривая, он тяжело дышал.

На нём был лилового шёлка кафтан, серый, в мелких кольцах парик, через грудь лента ордена св. Духа. В приёмной мы были втроём. Господин де Вальи представил меня королю. Лудовик дальнорук, мои рисунки он смотрел, вытянув руку вперёд. Король стоял у окна. Было заповедь. Стриженная аллея уходила в синеву Версальского парка.

Окончив с осмотром, его величество изволил произнести:

Я оставляю Вас архитектором двора, — и протянул мне папку.

Что сделалось со мною, трудно передать. Подталкиваемый учителем, я опустился на одно колено, как требует здешний этикет.

«Сир,— вымолвил я, путая от волнения французские слова,— я безгранично восхищён вашим вниманием и огорчён тем, что недостоин его».

Король приподнял брови.

«Вы отказываетесь?» — удивлённо спросил он и, не дожидаясь ответа, грузно пошёл к дверям.

Мой бедный учитель стоял, как громом поражённый. Это меня развеселило, и я оправился совершенно. Всю дорогу, сидя в карете, увозившей нас в Париж, Карл де Вальи повторял, качая головой:

«И вы отказались? Непостежимо! Вы, который так любит Париж, Францию...»

Что я мог сказать?

Да, это верно, я люблю Францию, привык к ней, но родину, Москву я люблю больше всего на свете.

Уже темнело, а он, не зажигая огня, ощупью взбирался вверх. Привратница сунула ему в руки свечу, когда Баженов, осмотрев Потр-Дам, решил подняться на галлерею. Винтовую лестницу окутывал полумрак. Гудел ветер в башенных окнах. Но, погружённый в свои мысли, Баженов не замечал ни темноты, ни холода. Пе впервые ему было лазить на колокольни. Медленно взбираясь

вверх, он думал об этом, о матери, о детстве, проведённом в Москве...

Внезапно Баженов остановился. Пад головой блеснуло небо. Дымчатое, оно плавилось на закате. Стрижи резали воздух. Сняв шляпу, Баженов подошёл к ограде.

Под ним, в синеве вечера, лежал Париж.

Было что-то волнующее в той высоте, с которой он рассматривал город. Голубая лента Сены разделяла его надвое. При свете догорающего дня Баженов ясно различал городские башни, прямоугольник Лувра. Чуть поблёскивали черепичные кровли.

Баженов облокотился на балюстраду.

Путешествие окончено. Через месяц он у себя, на родине. Наступает пора осуществления замыслов, о которых он думал, бродя в одиночестве по улицам Рима.

Широки поля Италии, бесконечны её дороги. С палкой в руке он шёл по каменистым тропинкам, припадал к родникам и, сидя под вечер у пастушьего костра, следил, как один за другим катятся дилижансы. Много карет пропустил он за эти годы. Они мчались к жёлтым водам Арно, где и сейчас ещё бродит тень Данте, где некогда в простом, солдатском плаще разгуливал в свите Цезаря бронзоволицый Витрувий.

С вершины собора Баженов различал старинную дорогу, ведущую в Рим. По ней он ехал две недели назад. Очертания её терялись в сумерках, окутывающих Париж. Прозрачное, будто сотканное из паутины покрывало медленно опускалось на золотящиеся кое-где шпили башен, на застывшие в

предвечерней мгле сады. На западе, где, отражаясь в Сене, догорал закат, в самом конце острова Ситэ, вспыхнули окна Дворца правосудия.

Сумерки сгустились. Ничего уже нельзя было разобрать, ни зубчатых стен Бастилии, ни Лувра.

Только колоннада его белела в полутьме.

Внизу замелькали огоньки. Баженову они напомнили вечера на колокольне Ивана Великого. Тоской разлуки сжалось сердце художника. Стиснув перила, он жадно вглядывался в исчезающий Париж. «Запечатлеть этот город навеки, донести, не расплескав, сокровищницу искусств и творить там, у себя, в Москве..»

Он видел множество городов: мраморный Рим, Болонью, с её улицами в аркадах, вокруг него расстился необозримый Париж, но Москву он нёс в себе, она была частицей его души, его сердцем. «Москва»,— повторил он в раздумье и улыбнулся.

Перегнувшись через балюстраду, равнодушно смотрели на Париж каменные чудовища, химеры, населявшие кровли собора. В надвигавшемся мраке они, казалось, готовы были обернуться и прыгнуть на Баженова. Невольно он отступил назад и, чуть не сорвавшись в пролёт, ухватился за оскаленную морду химеры. В глазах потемнело, ещё мгновение — и он бы ринулся в зияющую огнями бездну. Но, осязая рукой камень, поздраватый от времени и непогоды, Баженов уже не испытывал страха перед чудови-

щами. Благочестие или безумие ваятеля дало им жизнь, в действительности они не существовали.

Он был голоден, у него закружилась голова.

В последний раз Баженов окинул взглядом Париж, надел шляпу и стал медленно спускаться вниз.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Окончание журнала Баженова

Я на родине. Господи, благодарю тебя!
Снова дышу я воздухом России.

По по порядку.

Июня двадцать осьмого дня, в третью годовщину восшествия на престол государыни нашей, состоялась торжественная инаугурация Санктпетербургской академии художеств.

В конференц-зале учреждена была выставка работ пенсионеров, нововыезженных из чужих краёв. Я также разместил свои чертежи, итальянские рисунки и меж них найдю, пляшущу под деревом. Сей офорт гравирован мною в Риме и от Карлуса де Вальи весьма одобрен был.

Ждали императрицу, но она прибыть медлила. Смешавшись с гостями, бродил я по-

залам, ещё влажным от красок и грунта. Новостроенное здание академии есть совокупный труд любезных профессоров моих Валлена Делямотта и Александра Фёдоровича Кокоринова.

Здание великолепно, особенно на Неву выходящий фасад. По прежнее милее чем-то сердцу моему, здесь учился я, здесь на мостках, протянутых на сваях к реке, читал я первого друга юности, Ломоносова...

А свидеться не удалось.

Угас учитель апреля четвёртого дня, в то самое время, как ехал я из Венецейской земли в Париж.

Многие свершились перемены.

Прежняя Академия с гербом князей Головкиных была усадьбою времён Петра. Сырые и тесные службы её памятливы мне смирным воздухом, когда пробуждался я по утрам с головной болью.

А на углу Третьей линии Васильевского острова была аптека с блистающим между этажами распластанным орлом. Нету аптеки, срыли её, дабы не заграждала перспективы на Зимний дворец. Вот оно достославное здание, о коем с горячностью повествовал Каржавин. Мне оно не показалось¹. И сам творец его, граф Растреллий, в забвении.

В девять часов поутру галерея наполнилась шумом. Выбежав, увидел я шествующего к осмотру наследника, великого князя Павла Петровича, в соупутствии наставников своих.

Цесаревичу лет двенадцать. Подвижной

¹ То есть не понравилось (*старо-русское*).

очень, с бледным лицом, носик пуговкой и большие бегающие глаза. Одет в малиновый, шитый золотом кафтанчик, присвоенный почётным любителям Академии, в туго завитом паричке и рука на шпаге.

Осмотрев мои работы, изволил беседовать приватно. С видимым любопытством расспрашивал о нравах парижан, италийцев, о вселчских порядках жизни и строениях. На прощанье протянул руку и, улыбнувшись, сказал:

«А видать, вы отменного нраву».

Сопровождавший наследника президент Академии Бецкий указал Павлу на статую работы славного Жиллета, изображавший цесаревича в бюст. Бывший при сем Порошин, воспитатель Павла, изволил оный мрамор одобрить, на что цесаревич, преважно надув губы, ответствовал: «Вот ужо есть что хвалить, какой фурсик сделан».

Между тем ударила пушка, и все бросились приветствовать государыню.

При выходе её из шлюбки на пристань хор грянул: «Славься!»

В парчёвой робе, с голубой лентой через грудь, счастливая и улыбающаяся, императрица проследовала под балдахин, перед коим стоял стол с грамотами, печатями, дипломами Академии.

Воцарилась тишина.

Сумароков, коего зрю я впервые, начал в молчаньи торжественное слово.

И тут иглою кольнуло сердце.

Тако же, в оный день, теперь далёкий, говорил Ломоносов, отметивший меня.

А Сумароков, тщаясь заменить орла,
каркал глухим голосом:

«Се день и час установления и освящения
твоего, новоучреждённый храм Геликонских
нимф. Се время сеяния плодов Гесперидских,
обещающих богатую жатву. Сеет их Екате-
рина!»

По окончании слова представлены мы были
государыне, и я один из первых. Чертежами
моими вельми довольна осталась, за ревность
учению похвалила.

Всё то время, как конференц-секретарь до-
клад изволил делать о моей персоне, не от-
рывал я глаз от лица царицы. Не доброе оно,
но и жестоким я бы не назвал его, разве
глаза только: холодноватые, будто из льдинок,
синие, с карим отливом. Ни в губах, скромно
поджатых, ни в улыбке уст, обнаруживающих
ямочки на ланитах, кои с розою могут быть
сравнимы, ничего в лице не таит коварства.
Росту невысокого, но станом гибкая, хороша
она была на коне в день завоевания царства,
и улыбкою её полки покорялись беспреко-
словно. А когда встала она, дабы вручить
диплом мой, восторг окружающих передался
мне, и я, преклонив колена, припал к руке
монархини с чувством готовности умножить
славу её художествами.

В ту минуту припомнились мне строфы
Ломоносова, как бы завещание его:

Блаженства нового и дней златых причина
Великому Петру во след Екатерины
Величеством своим снисходит до наук
И славы праведной усугубляет звук...

А речи Каржавина о Екатерине почёл я за благо исторгнуть из груди моей, как лживые и вовсе недостойные россиянина.

Что до забвения Растреллия, то ведь оный дарство Елисаветы прославлял.

Новые времена — новые песни..

Тако успокоив совесть мою, пришёл я с праздника инаугурации. Но уснуть не мог. Раздевшись, сел я к окну, стал думать.

Из всех лиц, кто с благосклонностью смотрел на меня, кто руку жал, ни одно не запомнилось, кроме Павлова.

В нём я почитаю опору свою в дальнейшем.

Говорят, слаб он, переменчив. Да сердцем чист! При нём, ежели воударится,— вздохнёт Россия, исцелит раны свои.

А много их, нет числа. О том известился я, проезжая по городам и весям земли нашей, коя при человеческом правлении сильнее Франции может стать и могущественнее, ибо народ русский велик мужеством своим не в пример прочим.

Когда его спрашивали: «Как у вас возник замысел Кремля», Баженов, хмурясь, отвечал: «Сим я обязан благодетельствам графа Орлова». Говорил он так потому, что слишком зыбка была под ним почва в Петербурге, откуда он, вскоре после возвращения из чужих краёв, перебрался в Москву.

В папках архитектор увозил неосуществлённые проекты.

Москва встретила колокольным гулом. Баженов ехал по Тверской, и всё было, как в юности: ветхие домишки, сады, где цвела черёмуха. Снимая шапку, Баженов крестился на золотые купола церквей. После Парижа, Италии, холодного Санктпетербурга, он был дома, у священных холмов Кремля.

Может быть, в этот вечер, въезжая в Никольские ворота, он на один миг, неуловимый, как вспышка молнии, увидел свой замысел. Глухой удар грома потряс Кремль. Хлынул дождь, весенний, стремительный ливень. Протягивая ладони дождю, Баженов стоял на крыльце Арсенала, улыбающийся, в коротком, до колен, плаще.

Дождь барабанил по крыше.

Всё было попрежнему: из-под булыжника выбивалась трава, лениво шлёпали по лужам монахи, и так же, октавой, гудел сквозь шум дождя Иван Великий. Мало изменилась Москва. Ещё минуту назад клячонка тащила Баженова по грязной Никольской. Посулив алтын вознице, он нарочно поехал в объезд. Высунувшись из кибитки, долго смотрел Баженов на решётчатые окна Славяно-греко-латинской академии, за которыми прошла его юность.

Трёхэтажное кирпичное здание осело, стало от времени ещё более невзрачным. Через звонковую башню Вася поднимался наверх, где были расположены классы. В богословском классе висел портрет царя Фёдора Иоанновича. Много муки принял Вася в этом зале с окнами, похожими на узничьи. Он и теперь ещё, чувствуя дрожь в коленях,

повторял про себя урок богословия: колдуны вырывают с корнем деревья, целые поля с засевами переставляют с места на место, изменяют фигуру человека.— Особый род колдовства есть порча, maleficium, — произнёс он по-латыни и усмехнулся.

Войдя в Арсенал, где ему как главному архитектору артиллерийской конторы был приготовлен кабинет, Баженов сбросил плащ. В зелёном форменном кафтане с чёрными обшлагами и стальными пуговицами, он уже ничем не напоминал школяра, гонявшего голубей по кремлёвской площади. Линия девического рта стала резче, на лбу легли складки. Он был молод, полон сил, но юности уже не было.

Позволив в колокольчик, Баженов велел доложить о себе дежурному и сел разбирать вещи. Их было немного: мешок с бельём, сменные сапоги и папка чертежей. Он вытер папку рукавом, развернул её.

На титульном листе стояло:

*«Прожект увеселительному императорскому
на Екатеринюфском месте дому»*

Ниже шло его объяснение:

«Воображая по заданной мне программе и положению места, что сей дом должен быть увеселительный, ионического ордена, иметь зверинец и стоять в роще, вздумал я основание его представить развалинами древнего Дианина храма, и для чего поднять его гораздо выше фундаментом, как назначено

в профиле. Предписанную мне сему дому четырёхугольную фигуру¹ переменил я на круглую... В местах флигелей я рассудил сделать амфитеатр, имеющий вид древности, чтобы он тем более приличествовал к представленному в развалинах основанию. Сей дом можно сделать и без руин, ежели то не пожелается. Я расположил на плане на двое², и ежели без руин, то сделать амфитеатр с обыкновенными колоннами, число их употребить такое, сколько у нас есть городов, почему и поставить на них статуи с гербами каждого города...»

Взяв перо, Баженов приписал:

...И тем самым возвеличить славу России!

— Пропорции сему дому,— продолжал он вслух,— я дал Палладиева вкуса, кой в строении увеселительных домов более других я почитаю; во многих же местах пропорции, данные по моему усмотрению. Против четырёх сего дома портиков поставил я летящие на крылатых конях славы и против них снаружи дома статуи, изображающие четыре части света.. Большой двор назвал я марсов, потому что в оном расположил я покои для конной с одной стороны, и с другой — для пехотной гвардии. Позади же одного большого двора место промежду каналов, где есть теперь лес, определил я для зверинцев, по родам зверей. Сей дом обнёс я каналами как для способности лучше проезжать к нему водою, так и чтоб дать ему течением воды

¹ Форму.

² Два варианта.

живость и открытый вид итальянских строений. На одном из четырёх круглых островков... места для каруселей и мапежа, на другом же... амфитеатр... древнеримского вкуса для травления диких зверей...

В конце объяснительной записки Баженов предлагал соорудить перед дворцом фонтан на вкус де Треви в Риме, кой наиболее приличествует строениям Палладио...

Задумавшись, Баженов глядел в окно. Мог ли он, каменных дел мастер, равнять себя с великим Палладио, надеяться превзойти прославленного зодчего? А между тем сей проект, заданный учителями Баженова — Кокориновым и Делямоттом — на звание профессора академии, выполнил он с успехом.

Проект сдали в архив, звания не последовало.

Взбешённый Баженов бросился к Бецкому. Президент академии выслушал его, небрежно развалился в кресле. Вид старика с прищуренным глазом, насмешливо поглядывающего на «заморского академика», взорвал Баженова. Он наговорил дерзостей. И, уходя, бросил фразу Ломоносова: «Легче Академию отставить от меня, нежели меня от Академии...»

Бецкий усмехнулся:

— Ты так думаешь, кутейник?..

На другой же день академия прислала Баженову счёт деньгам, истраченным на парадный мундир: девяносто пять рублей, сорок семь с половиной копеек.

В этом мундире он представлялся императрице.

А еще через неделю счет в двести рублей, на обратную дорогу из чужих краёв.

Тщетно Баженов доказывал, что за пятилетнее пребывание за границей ему не доплачивали пенсиону, что из этих скудных средств он выкраивал деньги из собственного кошта на приобретение книг для отечественной академии, что, наконец, не приличествовало русскому архитектору богать по заказам из-за куска хлеба.

Ответа не последовало.

Рассеянно Баженов перелистывал папку. Вот план Каменноостровского дворца, сооружённого им для цесаревича Павла. К плану был приложен акварельный рисунок, изображающий строгий, античного вкуса дворец с колоннами, белевшими среди зелени острова, окружённого со всех сторон невскими водами. А вот миниатюра самого Павла, двенадцатилетнего, курносенького мальчика в завитом парике, с вытаращенными глазами. «Жалкий ребёнок», думал Баженов, припоминая свои встречи с наследником.

Возводя дворец, он часто беседовал с цесаревичем. Рассказами о замечательных памятниках Европы архитектор сумел завоевать доверие Павла, любознательного от природы. Наставники занимались им мало. Главный из них, Пикита Иванович Панин, канцлер империи, старался внушить мальчику неприязнь к матери. Делал он это тонко, объясняя явления природы или события исторические.

Учителя Павла — немцы, французы — каждый на свой лад развращали восприимчивую душу ребёнка, низкопоклонничали, и всё это

с едва уловимой ноткой презрения к нелюбимому сыну Екатерины. Окружавших его лиц цесаревич не жаловал и боялся. Уважал он одного Порошина, но, заметив это, Екатерина поспешила воспитателя удалить.

Вокруг наследника велась какая-то тайная игра, смысла которой Баженов не понимал и только удивлялся, видя, как придворная карета увозила цесаревича в Эрмитаж, где Павел, разгоряченный вином, танцевал в балете перед императрицей.

Может быть, его хотели известить?

Тогда эта мысль не приходила Баженову в голову, он был ослеплён радужным приёмом Екатерины, а собственные неудачи склонен был приписывать интригам Бецкого. По сей час, вдали от Петербурга, сидя наедине и взвешивая события, он уже ничему не удивлялся.

Разве не шептались в народе о загадочной смерти Иоанна Антоновича! Шлиссельбургский узник был опасным претендентом на престол. Его убили. Теперь в живых остался Павел. А разве Григорий Орлов, покровитель Баженова, не был одним из участников заговора против Петра Третьего, мужа Екатерины?

Прав Каржавин: так есть и так будет, доколе гражданство не вырвет из рук тиранов бразды правления...

С минуту Баженов сидел неподвижно, закрыв глаза.

Он сам не сумел угодить императрице, мало того, осмелился поспорить с Бецким, любимцем государыни...

И только дружба с Орловым спасла его от немилости.

Баженов усмехнулся: странная это была «дружба». Вельможа в случае, граф Григорий Григорьевич Орлов, проводил свои ночи в спальне императрицы или за картами в трактире Дрезденши, на Невском. Там они и встретились: сиятельный Гри-Гри,— как звали Орлова собутыльниками,— и запивший адъютант Баженов. Встретились и подружались в одну из белых ночей, когда Петербург как бы окутан дымкою и все его здания кажутся неосуществлёнными проектами...

На следующий день всеильный фаворит зачислил Баженова в артиллерийскую коллегию, выписал ему патент на чин капитана и повелел в кратчайший срок представить план петербургского арсенала.

Сей арсенал он намеревался поднести императрице.

— А на академию плюнь,— посоветовал Орлов.

Вздыхнув, Баженов перевернул лист.

Это была последняя его работа: проект Смольного института.

Сейчас проект находился на утверждении императрицы.

Смеркалось. Уже не видно было чертежей. Баженов хотел зажечь свечу, но передумал и подошёл к окну. Дождь перестал. На площади чирикали воробьи. Тут он вспомнил, что не был ещё у родителей. Спрятав папку в стол, Баженов накинул плащ и вышел из кабинета.

Всю дорогу из Петербурга в Москву его преследовала мысль о каком-то здании. Пригревшись в карете, он дремал. Спился Италия. Ветерок с моря шевелил ветвями пиний. На холме, ослепляя белизной мрамора, вырастала колоннада. От толчков кареты Баженов просыпался, видел чёрные, крытые соломой деревушки. Поскрипывая, экипаж катился по грязной, в ухабах, дороге. Мелькали берёзки, колодцы, плетни. Но стоило закрыть глаза, как мгновенно, уже наяву — возникал дворец.

Сейчас, шагая по кремлёвской площади, он опять вспомнил о нём, а не мог понять, что же это за зданье и где он его видел? Баженов перебирал в памяти многие известные ему сооружения: собор Петра в Риме, вила Адриана, Лувр, но всё это было не то...

Войдя в канцелярию дворца, Баженов вызвал дежурного. Пока офицер просматривал его бумаги, архитектор сел и огляделся. В приёмной было темно. Свеча в закапанном шандале освещала бюро дежурного, стоявшее под аркой. В маленькие окна даже днём не заглядывало солнце. Дворец, восхищавший Баженова в юности, теперь казался ему жалким.

Взглядом мастера он ясно различал основной порок здания. Возводили его не по самостоятельному плану, а приспособляя к фундаменту из аркад, оставшихся от пер-

вого кремлёвского дворца. Растрелли надстроил его.

Спрятав за обилаг пропускной билет, Баженов вышел из канцелярии и в раздумье остановился перед подъездом. Дворец ему не нравился. Похожим, но более растянутым по фасаду, был Зимний в Петербурге. Оба они не удовлетворяли Баженова. Он мечтал о простоте, строгости линий. Таков Лувр. Даже Версальский дворец, щедро изукрашенный статуями и вазонами, сумел сохранить монументальность замысла.

А здесь единство стиля отсутствовало.

Пожав плечами, Баженов направился к Боровицким воротам. Дремавший под аркой ветеран Семилетней войны вскочил, сделал ружьём на-караул. Погружённый в свои мысли, архитектор с удивлением посмотрел на старика. Восемь месяцев Баженов носил военную форму и всё не мог привыкнуть отдавать честь.

Было уже темно. Вдоль набережной трепетали огоньки. Как двенадцать лет назад стоял он на Каменном мосту, и перед ним был тот же Кремль, безмолвный в этот час. Река шумела. Тогда она была скована льдом. Опершись на ограду, студент смотрел на Москву, иллюминированную в ознаменование открытия университета..

Много воды утекло с тех пор. Умер и — забыт Ломоносов.

На одно мгновение, когда Баженов свернул в Замоскворечье и в лицо ему пахнуло садами, он снова почувствовал себя школяром, возвращающимся с лекций..

Вот и лавка, куда он прибежал на другой день рассказать Груне о встрече с Ломоносовым. А за лавкой, рядом с церковью св. Климента, их дом. Баженов удивлённо оглянулся. Зачем он забрёл сюда? Из Петербурга Баженов послал Аграфене Лукиничне с нарочным два письма, но ответа не получил. Слышал он стороною, что отец Груни, Лука Иванович Долгов, разбогатеv, стал именитым гражданином, президентом московского магистрата. «Загордели», — усмехнулся Баженов, входя во двор.

Окна были раскрыты. Здесь, на ступеньках терраски, Груня играла в куклы. Едва он завидел с детства знакомое крылечко, как всё вдруг, нахлынув волной, встрепенулось в нём. «А может, прощали нисьма?» В окнах свет, музыка, слышно шарканье ног. «Танцуют! Уж не свадьба ли?» Он вздрогнул, провёл рукой по лбу. «Ну, а хотя бы и так... Нет, не бывать этому», — пробормотал он бледнея. Уже не колеблясь, Баженов взбежал по лесенке, схватился за висевший на верёвке молоток.

На стук дверь скрипнула, и выглянул слуга.

— Луку Ивановича мне. Дома?

Старик с поклоном распахнул дверь.

— Дома, батюшка, пожалуйста, а только они в саду, с господином Каржавиным, а барышни в залке-с, пляшут...

— Каржавиц, — переспросил Баженов, — Фёдор Васильевич?

— Они самые-с.

— А ну доложи, — Баженов скинул слуге



на руки плащ, треуголку и, обернувшись, строго спросил:

— Что у вас, княжой пир, что ли?

Слуга покачал головой.

— Сами по себе пляшут. Известно: молодозелено, погулять велено,— и приоткрыл стеклянную дверцу, но Баженов, вне себя от радости распахнул её и, перепрыгивая через ступеньки, сбежал в сад. Был он такой же, как в детстве, запущенный и таинственный, но почему-то казался меньше. А вон и беседка, где играли с Труней в прятки. Баженов оглянулся.

Под липами, с едва оперившейся листвою, он увидел хозяина. Долгов был в неизменной своей поддёвке и сафьяновых сапогах. Слушавшая Каржавина, старик шурился, важно поглаживал бороду.

— Лука Иванович! Фёдор Васильевич!

Оба, вздрогнув, повернулись, и, подскокивший первым, Каржавин горячо обнял Баженова.

— Базиль? Ты?

— Я. Постой! Задушишь. Дай с хозяином поздороваться.

Долгов поднялся с лавки. В глазах его, из-под седых бровей, перебежали огоньки. Взмахнув руками, он облапил Баженова, крепко поцеловал в губы.

— Ну, разодолжил! Какой молодец вытянулся. Ерой! Дай поглядеть на тебя, ваше благородие. Давно ли? Поздравляю,— и, обращаясь к опешившему Каржавину, Долгов подмигнул,— да я Ваську во какого знал, махонького. За уши диривал. Помнишь? То-то.

Всё с моей Груняхой куралесили. Пу, садись, садись, гостем будешь. Маланья! — крикнул он стряпухе. — Тащи вина. Живо! Да покличь девиц...

Баженов смотрел и не верил: всё такой же, весёлый, смеётся. При имени Груни он вспыхнул весь, но нехватило сил спросить. А может, давно замужем? Он даже не слышал, что говорил ему Каржавин.

— Ах, мон шер, как я рад, — повторял тот, не выпуская руки Баженова, — а мне и невдомёк, что ты здесь свой. Ведь я Долговым родня, троюродный племяш Луки Иваныча. Да ты садись, — и, усадив Баженова на лавку, Каржавин хлопнул его по плечу, — а мы с ним, дядюшка, в Париже познакомились. Что за город! Белль Франс! Пропадаю! — крикнул он. — Ни за грош пропадаю! Отец выгнал. Знать не хочет. А всё ты, мон шер: Москва да Москва, вот тебе и Москва. Ежели б не Лука Иванович, сплошное, брат, мизерабль, с голоду сдох бы...

— Пу, уж ты скажешь, — самодовольно ухмыльнулся Долгов и опять погладил бороду, — крутенок твой родитель, это верно, да и ты хорош, всё трень-брень на уме, нет того, чтобы в дело вникнуть, к торговлишке приохотиться. Как отец? Здоров? — обернулся он к Баженову.

Кивнув, Баженов ответил:

— Писал, что здоров. Благодарю.

— А ты не благодари попусту. Отца чтить надо. Вон Федыка, даром что в Париж ездил, а пустобрёхом был, пустобрёхом остался. Чего зубы скалишь? Правду говорю. Лишит отец

наследства — белугой взвоешь. Триста тысяч денег! Шутка ли...

Каржавин только рукой махнул.

— Не слушай ты его, — сказал он по-французски и дернул Баженова за рукав.

С терраски сбежали две девицы, обе в белом, с завитыми локонами.

— Вот, не угодно ли, — кивнул Долгов, указывая пальцем на Баженова, — Ивана Фёдоровича сынок? Небось, забыли сороки. А Груня где?

— Она в саду-с, папенька, за черёмухой пошла, — пролепетала Прасковья Лукинична, приседа в реверансе, а Маша, зардевшись, кинулась было за Груней, но Баженов остановил её.

— Погодите, я сам...

Сердце его билось, в висках стучало, и, не глядя на щебетавших девиц, он бросился в глубь сада.

Черёмуха росла у забора. Прежде чем свернуть на аллею, Баженов перекрестился: от дурного глаза. И вздрогнул, заслышав лёгкие шаги. Ещё не видя никого, а только различая сухой шелест платья, Баженов понял, что это она, Груня...

Вышедшая из-за кустов девушка остановилась, приложила ладонь к груди. Черёмуха выпала у неё из рук. Баженов молча смотрел ей в лицо и не верил своим глазам. Перед ним стояла высокая, стройная девушка, в голубой робе, с жемчугом на шее. Было что-то прежнее в её лице, в удивлённо приподнятых бровях, в косах, лежащих вокруг головы спелым жгутом пшеницы, но глаза,

лучистые и улыбающиеся, смотрели по-новому, отчуждённо...

Подоспевший Каржавин проворно собрал цветы.

— Сестрица, ежели забыли, то позвольте представить вам друга моего, Василия Ивановича Баженова,— и, обернувшись к другу, усмехнулся,— Долгова, Аграфена Лукинична, прошу любить и жаловать...

Баженов молча поклонился. Сердце его вдруг сжалось от охватившего отчаяния: чужая, совсем чужая. Когда он поднял голову, глаза его встретились с насмешливым взглядом Груни.

— Опоздали, братец: мы уже знакомы... Каржавин быстро взглянул на неё.

— Не думал, не гадал... А впрочем, рад. Груня взяла у него мокрый от дождя букет, бережно расправила цветы.

— Спасибо, Федя. Что ж мы стоим: идёмте в залу.

— Танцевать! Танцевать! — обрадованно подхватил Каржавин, пытавшийся скрыть смущенье, и, первым вбежав в дом, крикнул:

— Ванька! Менует а ля рени!

В зале бравурно ударили по клавишам.

Не двигаясь, Баженов пристально смотрел на Груню. Она стояла, склонив голову набок, перебирая пальцами ожерелье. В атласной, шитой бисером робе, Аграфена Лукинична совсем не походила на девочку, которую он знал, и всё же это была она, Груня, русалка с зелёными глазами.

Едва сдерживая волненье, Баженов спросил:

— Помните, как мы воровали здесь яблоки?

Груня улыбнулась.

— Помню. А как Маша плакала, когда вы её дразнили. Сегодня она вас не узнала.

Медленно они шли по аллейке. Искоса поглядывая на собеседницу, Баженов не мог притти в себя от удивления. Неужели эта девушка с веером в руке — Груня? По голосу был тот же, звонкий, проникающий в сердце.

Баженов остановился, заглянул ей в глаза.

— Помните Воробьёвы горы? Какие мы были с вами дети...

— Да,— чуть слышно ответила Груня и опустила голову,— а вам должно быть стыдно забывать друзей...

Он не забыл, не мог забыть, все эти годы он думал о ней.

— Я писал к вам,— торопливо закончил Баженов.

Не отнимая руки, Груня смотрела на освещённые окна дома. Свет падал на дорожку, где они стояли, охваченные налетевшим порывом. Вместе с ветерком, шелестевшим листвою берёз, долетали звуки клавесин. Баженов поцеловал руку девушки. Решительно высвободившись, Груня быстро пошла к дому.

Баженов преградил ей дорогу.

— Грунюшка, вы сердитесь, вы не рады мне?..

Она раздумчиво покачала головой.

— Мне нужно идти,— сказала Груня,— пустите,— и, вырвав руку, бросилась бежать по аллейке, придерживая шумящие юбки. Плечи её вздрагивали.

Баженов сделал несколько шагов вперёд и остановился. Он видел, как на крыльчке Каржавин подхватил Груню, ввёл её в дом. «Вот оно что»,— пробормотал Баженов и закусил губу. «Значит, прав Лука Иванович, хоть и пустобрёх Федька, а всё ж свой брат, миллионщик». Ворот душил Баженова, он растегнул кафтан, устало опустился на скамью. Музыка звучала издалека, сходились и расходились пары. «Что я ей,— думал он,— случайный кавалер, пауза между танцами, да и танцовать-то как следует не умею. То ли дело «братец»,— Баженов усмехнулся:— Братец — сестрица, какой вздор!..»

Он поднялся, растерянно глянул вокруг. Где-то неподалёку была калитка из сада на улицу. «Всё это пустое, детские бредни»,— повторял Баженов как в лихорадке. Пальцы его дрожали, рука никак не могла нащупать засов.

Калитка скрипнула, и он вышел на улицу.

14

Время плыло над ним облаком, шумело грозами, но, страпствуя по чужим краям, Баженов никогда не ощущал так ясно его течения, как в этот вечер, стоя у ворот родного дома. Сейчас ему хотелось видеть отца, сестру, забыться в объятьях матери, не думать о Груне. С минуту он размышлял, не двигаясь, охваченный сомнениями. Потом толкнул ногой калитку, вошёл в сад.

Он был всё тот же,— вон и угол, где Вася

учил уроки, но деревья разрослись, а скамейки уже не было. На её месте торчали два гнилых столба. У конуры лежал кудлатый пёс, напоминающий Полкана. Завидев чужого, пёс залаял, вскочил, гремя цепью,— дверь открылась, и на пороге показался отец.

Баженов узнал его раньше, чем успел разглядеть цыганское лицо, с чёрной бордой, широкие плечи, насупленный, пронизывающий взгляд, и вдруг понял, что приходит не следовало, что из этого дома он вышел навсегда.

Но было уже поздно. С причитаниями выбежала мать, суетливая женщина в чёрном платке. Коснувшись её сморщенной щеки, Баженов почувствовал, как в груди его что-то дрогнуло. И будто не было Парижа, версальских стриженных садов, а то, о чём он всегда думал странствуя,— образ матери, был снова подлинной его жизнью. Но как постарела мать! Как всё изменилось дома!..

Жадно оглядывался он по сторонам. На полатах сушилось бельё. Здесь Вася читал Витрувия. На трёхногом столе поблёскивал штоф водки и лежала нарезанная вобла. Шмыгали тараканы. Сальная свеча тускло озаряла печь.

Значит, этот мир существовал рядом с другим, необъятным, всё то время, как он учился, путешествовал. Значит, в этой, наполовину истаявшей свече и был тот закон времени, которого он, скитаясь, не ощущал в себе...

Посреди горницы, в рваном подряснике стоял поседевший, совсем не страшный отец.

Они обнялись.

Они никогда этого не делали раньше, и теперь, вглядываясь в сгорбленную фигуру дьячка, Баженов не мог вызвать ощущений детства. Да полно, мучил ли отец Васю, не всегда ли, как сейчас, были подёрнуты влагой его глаза под угрюмо нависшими бровями?

— Я тебе налью,— растерянно бормотал Иван Фёдорович, и руки его тряслись, и звякало горлышко о стакан.

Баженов улыбался:

— Палей, налей, отец...

А мать, содрогаясь от душивших её слёз, не отрывала глаз от сына. И никого с ними нет; сестра вышла замуж и живёт в Рязани, брат на послухе в Киево-Печерской лавре...

Сидя на табурете, Баженов рассказывал им о Петербурге, о том, как гудки ночью шаги на площади святого Петра в Риме. Да, в Риме, ибо их сын, академик, профессор Парижской, Флорентинской...

— Васька, налить?

— Паливай... О чём бишь я?.. Да, так вот в Риме... Рим, отец, совсем не похож на Москву...

Вытирая рот ладонью, ухмыляется Иван Фёдорович.

— И сивухи, поди, нет?

— Пет, кажется — нет, не знаю...

Пить надо быстро, одним глотком, обжигает, но — легче, и как будто не было неудач, прожекта Екатерингофского дворца, всех несуществлённых прожектов. Ваше здоровье, батюшка! Пить надо, если возможен сверкаю-

щий Париж и вот эта горница, погружённая в полумрак. А может быть, нет ни Парижа, ни Петербурга, а только одни стены, гулкие пустотой залы дворцов, которые он возводил на вымершей земле? А вот когда императрица рассмотрит его проект Смольного, он создаст, наконец, бессмертное творенье, и у него будут деньги, много денег: триста тысяч.

— Всё возможно,— говорит Иван Фёдорович.

Размахивая руками, Баженов вскакивает, ему кажется, что он снова в мастерской мэтра де Вальи и что его слушает вся Парижская академия.

— Ну, а храмы там есть?— ехидно спрашивает дьячок.— Небось, у еретиков погано?

— Храмы есть. В Париже — Потр-Дам. Главный колокол его весит восемьсот пудов...

Иван Фёдорович хохочет, живот его волной ходит под рясой,— ведь как врёт, стервец, во-семисот пудов!.. Баженов смолкает: о чём он может им рассказать? И невольно съёживается, как в детстве, заслышав грозный окрик отца: «Марш за вином!»

Но за водкой его не посылают. Она уже здесь, под полом. Дьячок открывает крышку ската, лезет в голбец,— мать держит его за подрясник, не пускает: «Уймись, безбожная душа!» Изогнувшись, Иван Фёдорович ударяет её в грудь, и она с тихим стоном валится на пол.

Гнев охватывает Баженова.

— Не смей бить мать!

Дьячок застывает с флягой в руке, взъеро-

шенный, как захмелевший сатир с итальянских фресок.

— Ты, — кричит он, — ты, перечить отцу, родителю? Убью! — взвизгивает Иван Фёдорович и замахивается флягой. Пронзительно кричит мать, потом падает на колени, пытается защитить сына, и ничего уже не помнит Васенька, что-то знойное и мутное, терзавшее его в детстве, как кошмар, с новой силой захлёстывает душу.

Со звоном летит оземь фляга.

Два тела, потное, жирное — отца, напряжённейшее издавней ненавистью — сына, сплетаются в яростный клубок. Гаснет свеча, и борьба длится во мраке, с хрипом, скрежетом, заглушёнными ругательствами.

Всё кончено. Дьячок связан, корчится на полу, мать подметает стекло, Баженов с рассечённой щекой ищет плащ, треуголку. И вдруг вспомнив, что они остались у Долговых, улыбается. Испуганно следит за ним мать. Обнимая её, Баженов суёт в дрожащую руку три рубля, всё, что у него есть, порывисто целует седую голову и выбегает в сад, залитый луной. Томительно щёлкает соловей, кусты черёмухи протягивают свои белые лапы, словно стараясь удержать Васю...

Прислонившись к забору, Баженов вытирает кровь с лица. И снова, в круженьи танца видит Груню, ненавистного Каржавина. Подождите! Он ещё покажет им. Он грозит в пространство кулаком.

Пошатываясь, Баженов бредёт к себе домой, в Кремль. Луна серебрит зубчатые его стены, он смотрит на них, пытается понять,

где он видел другие, в колоннах. Проводит рукой по волосам. Как глупо: напился. Вино жжёт грудь, но ещё сильнее жжёт мысль о каком-то зданье, вспомнить которое он не в силах весь вечер...

В лунном блеске Кремль. Высоко, в синеву неба, тянутся едва видимые колонны...

А может быть, в эти минуты, когда на Спасской башне часы гулко вызванивали полночь, ему открылся замысел:

...прозрачные, одна на другую поставленные колонны.

Хмурый часовой долго рассматривает билет капитана артиллерии Баженова.

Выше поднимает фонарь.

Всклопоченный, бледный капитан смотрит куда-то вверх. Часовой удивлённо закидывает голову и не видит ничего, кроме звёздного неба.

15

Уснуть он не мог. Отмеривая четверти, гулко били куранты, доносились окрики часовых, но Баженов ничего не слышал: он сидел у себя в кабинете за разработкой плана Кремля.

Мысль эта родилась в одну ночь.

На месте растреллиевского дворца должен был возникнуть новый, четырёхэтажный. Стена с двойным рядом колонн охватит собой всё пространство Кремля. Ветхое зданье Приказов и часть наружных стен будут снесены вовсе, дабы очистить площади с древнейшими соборами и колокольней Ивана Великого.

С внутренней стороны кремлёвская площадь замкнётся декоративной аркой с колоннадой, напоминая знаменитую рошу колонн перед собором Петра в Риме. Широкая мраморная лестница свяжет новый дворец с гранитной набережной Москва-реки.

Поражённый грандиозностью замысла, Баженов вскакивал с места, принимался ходить из угла в угол. Радость опьяняла его. Это и был тот самый дворец, который он тщетно пытался вспомнить, никогда не виденный и более реальный, чем парижский Лувр, храм Адриана в Риме. А за дворцом, теснясь, вставали аркады, театр, циркумференция площади, весь Кремль российский, чудесно спаянный в одно целое, превосходящее всё, что встречал Баженов в чужих краях.

Арки, пролёты, лестницы проносились в мозгу сказочным видением, и не было никакой возможности задержать его хоть на миг. Баженов садился за стол, дрожащими руками накладывал на бумагу циркуль и в отчаянии отбрасывал его: замысел не созрел ещё для точного расчёта. Он брал карандаш, пытался зарисовать то, что возникало и гасло с быстротой падающей звезды.

Он набрасывал на листах, на обрывках полотна. Сам по себе дворец — ещё не решение задачи, — думал Баженов, — это только отправная точка. Дворец надобно вписать в кремлёвский ансамбль, и тогда мы получим нечто целое, законченное. Для сего будет воздвигнута стена, с двойным рядом колонн.

А внутри Кремля возникнет циркумференция: огромный полуциркуль с четырёхсту-

пенчатым доколом, на котором мраморной волной взметнутся в небо колонны.

Охватывая полукругом площадь с древнейшими соборами, колокольней Ивана Великого, циркумференция свяжет воедино дворец, театр и крытые галереи для празднеств, а площадь разобьётся на три, меньшие, разделённые между собой колоннадами с летящими над ними крылатыми викториями.

Там, где циркумференция соединится с центральным корпусом дворца, широко распахнётся подъезд с тремя арками и римскими колоннами, ведущими в дворцовый вестибюль. По форме это будет беседка ротонда, шатёр, поддерживаемый двенадцатью колоннами розового мрамора. На куполе вестибюля мозаика, гирлянды, фрески...

Другой стороной колоннада циркумференции сольётся с театром. Сам театр был ещё неразличим. В воображении, пересекая одна другую, стремительным потоком ниспадали лестницы. Из сумрака театрального зала выплывали стены, украшенные лепкой, и колонны, множество колонн, как бы раздвигающие перспективу сцены.

— Нет,— твёрдо сказал Баженов,— об этом рано думать, главное сейчас — дворец. Это центр, средоточие ансамбля, охватывающего Кремль на три версты в окружности, отовсюду видимый, ослепляющий белизной мрамор.

Внешний фасад, выходящий на Москва-реку, будет в четыре этажа. В центре фасада — выступ. Четырнадцать гранитных, ионическо-

го ордера колонн поддерживают перекрытие с плоским карнизом, обильно обработанные скульптурой.

По обеим сторонам центрального выступа будет по десять колонн, за колоннами в ритмическом порядке последуют двухколонные выступы, создающие впечатление развёрнутости фасада. Для усиления эффекта и массивности здания по обеим сторонам его будут выдвинуты шестиколонные портики, а по краям корпуса — выступы со двоянными колоннами, богато украшенными лепкой, фигурами кариатид, поддерживающих карнизы окон.

Все наружные колонны каменные, ионического, наиболее декоративного, ордера.

Главная зала дворца рисовалась Баженову огромной и величественной, как на офортах Джамбатисты Пиранези.

В каждом из углов залы — мощная колоннада, состоящая из девяти колонн богатого коринфского ордера. Материал — розовый гранит. Стены — венецейского, в жилках, мрамора, наподобие игорного зала в Ридотто.

От этих стен, будучи в Венеции, Баженов не мог отвести взора, стоял как зачарованный, не замечая карточной игры за столиками, толкаемый шумными игроками в массах. От огня свечей казалось, что жилки на мраморе стен переливаются, меняют цвета.

Кремлёвский дворец при изобилии хрустальных люстр, зеркал и жирандольей усилит игру света. Между окнами дворца разместятся барельефы на сюжеты славной российской истории. Главная зала, приёмная,

личные покои императрицы — всё это располагалось на третьем этаже, четвёртый будет отведён под фрейлинские каморы, библиотеку, а первые два этажа для охраны и дворцовых служб.

Поглощённый прожектом, Баженов не слышал боя курантов и, подняв голову, с удивлением глянул вокруг: было уже утро...

Он загасил свечу и, откинувшись в кресле, сидел с минуту неподвижно, словно в оцепененье, потом встал, отрешённо и твёрдо, как лунатик, вышел из кабинета, спустился по лестнице во двор.

Ему казалось, что он только что прошёл по всем этажам своего дворца, заглянул во все залы, галереи, и был не мало удивлён, очутившись на кремлёвской площади с детства знакомой колокольней Ивана Великого.

Баженов провёл рукой по волосам и улыбнулся: это было наваждение. Но сколько он ни гнал его, оно не рассеивалось. Баженов шёл по кремлёвской площади с новыми улицами, разделёнными колоннадой.

Порой дорогу ему преграждали обелиски с летящими над ними бронзовыми викториями. Широко раскрыв глаза, он смотрел на крылатых вестниц победы до тех пор, пока лёгкие их фигуры не расплывались в предутреннем тумане.

У ограды с деревянными перилами Баженов остановился. Ветерок пахнул ему в лицо, зашевелил листвою майского дерева, росшего по склону холма. Облокотившись на перила, Баженов задумчиво разглядывал Москву. Прямо перед ним, как бы в рамке, образуемой

зубцами кремлёвской стены и башнями, ка-
тила свои воды Москва-река.

На том берегу, утопая в зелени садов, рас-
кинулось Замоскворечье. Баженов смотрел на
красные стены церкви св. Климента, блистаю-
щей золотом узорного креста, на маленький
домик, где спит в этот час Груня, и думал:
«Можно объездить целый мир, всё познать,
всё изучить, но труды и подвиги суждены
человеку на родине его, без которой нет
жизни на земле».

Все его помыслы были здесь, на берегах
Москва-реки, и нигде более.

А если смотреть на запад, то видны по-
росшие лесами крутые склоны Воробьёвых
гор, где он впервые встретился с Груней.
Ближе к городу, к тесовым кровлям домов—
распушились липы Нескучного сада, сереб-
рятся озёра и пруды. Ещё левее, там, где
Москва-река делает излучину, плывут в за-
розовевшем небе купола Данилова и Дон-
ского монастырей.

К востоку, откуда, прорвавшись, брызнули
первые лучи солнца,—зеленеет усеянная ма-
ковками церквей Швивая горка, а перед нею,
у песчаных берегов Москва-реки — Китайго-
родская стена. Над стеною — резные петуш-
ки теремов, медные орлы на гребнях пи-
тейных домов. Лёгкий дымок расстилался над
ожившим Китай-городом.

Но Баженов не смотрел в ту сторону. Вни-
мание его привлекала старинная церковь ца-
ря Константина и царицы Елены. Позади
неё пустынный дворцовый двор. Здесь, на
самой вершине кремлёвского холма, будет за-

ложен новый дворец. Колоннада циркумференции раскинется на месте разросшегося сада, где уже ожили и зачирикали перенархивающие с ветки на ветку птицы.

Здесь, а не на месте старого, растреллиевского дворца, развернёт он крылья своих стен, с двойным рядом колонн. Одно крыло охватит собой монастырские кельи и службы, прилепившиеся, как грибы, на склоне Боровицкого холма, от церкви Константина и Елены до Петровского арсенала у Спасских ворот, а другое взмоет вверх, прикрывая всю кремлёвскую площадь с древнейшими соборами и колокольней Ивана Великого.

Глядя на милое сердцу Замоскворечье, на Каменный мост с деревянными арками, переброшенный через Москва-реку, Баженов раздумывал: а не будет ли чудд его новый дворец святыням московским, старинному облику Кремля? И как сдружатся античные аркады с весёлой берёзкой у плетня, поникшей ивой у реки, с плоскоутным полусгнившим мостиком, по которому, позвякивая ведрами, шла молодайка за водой.

Величественные колоннады, портики древнего Рима, бронзовые богини на фронтонах Палладио хороши у лазурного моря. Белизна мрамора ярче выделяется среди зелени лавров и кипарисов,— всё это так, но ежели представить себе, что сотни лет назад на этот холм кремлёвский взошёл фряжский мастер Аристотель Фиораванти, чтобы возвести Успенский собор, то ведь в те далёкие времена Москва была вовсе бедна зданиями, бревенчатая да тесовая — вот и всё, что застал Фио-

раванги в Москве, а Кремль был обведён деревянной стеною.

В те поры более, чем в нынешние годы, когда украсилась Москва великолепными храмами,—разниствовала Белокаменная и Кремль замыслам Аристотеля Фиораванти, самому духу мастера.

Но прошли века и—един Кремль. Так будет и после него, сгладятся все новшества: мраморные, в колоннах стены, римские аркады и сам дворец его сольётся с постройками будущей Москвы, ещё не различимой в сумраке грядущих лет, но такой же великой, как есть она поныне, была и пребудет во веки веков...

Ей, державной,— по силе и праву надлежит быть истинной славою российской. ибо Москва—Третий Рим, а четвёртому не быти.

16

На другой день приехавший из Петербурга генерал-фельдцейгмейстер Орлов потребовал к себе Баженова. Архитектор был занят планом Кремля и, молча кивнув служителю, продолжал работать.

Замысел уже созрел, Баженов чертил легко и уверенно, а в памяти опять возникал пашемшливый образ Груни, но он гнал его от себя, боясь растравой сердца охладить пыл творчества.— Южную же стену,— рассуждал он,— как ни жаль, а придётся срыть. Баженов так увлёкся, что не слышал нетерпеливых звонков из приёмной Орлова.



Явившийся адъютант потребовал итти незамедлительно.

Баженов встал, с минуту удивлённо рассматривал офицера и опять сел за стол.

Адъютант положил руку на чертежи.

— Господин капитан, его сиятельство приказывает вам следовать за мной.

— Да, да,— кивнул Баженов,— но стены придётся срыть...

Через мгновение, застёгивая на груди кафтан, Баженов входил в дворцовую приёмную. В зеркалах он видел себя растрёпанным, без парика.

Дверь открылась, и Баженов очутился на пороге кабинета.

Сидя за бюро, Орлов писал. Одетый в генеральский, зелёного сукна мундир, с голубой лентой через плечо, граф был тщательно выбрит и напудрен. Почти одних лет с Баженовым, Орлов казался старше. Красивое, несколько холодное лицо его было хмуро.

— Ждать заставляешь,— пробормотал он вместо приветствия и, не указав на кресло, потребовал роспись артиллерийского ведомства.

Баженов заявил, что она ещё не составлена.

Откинувшись в кресле, Орлов вынул табакерку, щёлкнул пальцем по эмалированной крышке.

— Однако, братец, чем же ты здесь занимаешься,— и, оглядев архитектора, презрительно добавил,— бражничаешь? Чтобы завтра же была роспись.

Баженов поклонился и хотел итти.

— Постой,— продолжал Орлов, закладывая понюшку,— всемиловейшая государыня, по

великой мудрости своей и неустанно пещась о благе государства российского, повелела — созвать собор депутатов для заслушивания монаршего Паказа. Собор назначен на июль сего года, здесь, в Грановитой палате. Словом: тебе вменяется привести оное здание в должествующий вид. Разумеешь? Что касаето твоего прожета, государыня рассудила поручить возведение Смольного иноземному мастеру, а тебе оканчивать Петербургский арсенал.

Орлов поднял тонкие свои, подрисованные брови: архитектор стоял всё в той же позе, бледный, сияющий, и как будто вовсе не слышал его слов. «Чудно,— подумал Орлов,— окаменел, как статуя». Баженов провёл ладонью по груди, от горла до сердца, тихо сказал:

— Ваше сиятельство, выслушайте меня.

И положил на бюро скатанный в трубку план.

Прошёл час, два, а он всё говорил громким, взволнованным голосом. Сперва Орлов слушал его с брезгливой усмешкой, но постепенно лицо его прояснялось, одобрительно кивая, он принимался ходить из угла в угол. Останавливаясь, Орлов недоумевающе смотрел на Баженова.

Темнело. Доносилось пенье военного рожка, но ни сумерки, ни команда сменяющегося караула не могли прервать Баженова, рассказывающего о своём дворце с такой уверенностью, словно он уже был построен и стояло

только выйти на кремлёвскую площадь, чтобы очутиться под его колоннадой...

Часы на камине пробили десять.

Смолкнув, Баженов испытующе смотрел на Орлова. Увлечённый идеей постройки, способной затмить своей грандиозностью храм Соломона, римский Палаatin, Акрополь,— Орлов не знал, что сказать. Конечно, строительство дворца обойдётся дорожке тридцати миллионов, как уже рассчитал этот безумец, неподвижно сидящий в кресле,— одна лестница будет стоить миллиона два, но Орлова занимало другое: если ему удастся осуществить баженовский проект, не вернёт ли он тем самым расположение Екатерины, приблизившей к себе Потёмкина? При этой мысли Орлов закусил губу. Лицо его побледнело от ярости и, чтобы скрыть волнение, он отвернулся к окну.

Заранее согласный на все условия Баженова, Орлов размышлял, что ему сейчас сделать: подойти, обнять архитектора, просто пожать руку?

Помолчав, он спросил:

— Как это ты, братец, додумался?..



ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

17

В девяти верстах от Москвы раскинулось село Коломенское. В старину здесь была вотчина царя Алексея Михайловича. На взгорье, в зелени садов стояли деревянные хоромы. Солнце золотило маковки теремов. Над одним из них жарко пылал византийский герб. Множество галлереек, переходов было в тех хоромах, и по вечерам, когда стража, отстучав в колотушки, запирала дубовые ворота, долго ещё скрипели лесенки под боярскими тяжёлыми шагами.

В узкие оконца, затянутые разноцветной слюдой, свет проникал скупо, сумрачно было в светлицах, где сидели теремные девушки, склонившись над пядцами. Далеко за полночь молился царь в своей опочивальне, стоя на

коленях перед суздальскими, сурового письма иконами, с почерневшими ликами...

— А вот здесь,— говорил Баженов, отворяя резную дверь,— была думская палата.

Вдоль сводчатой горницы тянулись лавки, покрытые алым сукном. На столе с бахромчатой скатертью были расставлены ларцы, братины, деревянные ковшы.

Несколько минут все молчали, рассматривая потолок, расписанный знаками зодиака. Печальник дворцовой экспедиции, генерал Измайлов, звеня шпорами, подошёл к столу.

— Вещицы прибрать надобно.

— Не извольте сомневаться, ваше превосходительство, они у меня в реестре,— ответил Казаков, заглянув в тетрадь,— вот, не угодно ли видеть: за номерами 143, 144, 145-м.

Баженов усмехнулся. Точность была страстью Казакова. Щеголеватый, в своём чёрном кафтане, с ловко прилаженной косицей, он напоминал управителя: всё у него было проверено, занумеровано. «Пропал бы я без него»,— думал Баженов, ласково смотря в озабоченное лицо друга.

Казаков был небольшого роста, складно сложен, с высоким, открытым лбом и по детски выпяченной нижней губой, что придавало ему обиженный вид.

— Жалко, поди, теремов-то,— сказал Долгов и, сняв картуз, почесал начинавшее лысеть темя,— а, что скажешь, Вася?

— На разбор Коломенского, почтеннейший Лука Иванович, у господина архитекта Баженова имеется высочайшее разрешение,—

ответил Измайлов, возвращая тетрадь Казакову. И, вздёрнув плечи, победоносно оглянулся по сторонам.

Долгов разглаживал бороду.

— Да я знаю, а всё ж, поди, сердце ёкает...

— Рассудите сами,—серьёзно сказал Баженов,—дворец Коломенский ветх, заваливается. Всякий, кому не лень тащит по брёвнышку, а ведь это выдержанное, сушёное дерево. Лучшего материала для модели моей не сыскать...

— Папенька, наденьте картуз, простыньте,—перебила Груня.

Баженов искоса взглянул на неё. Аграфена Лукинична была в бархатной безрукавке, надетой поверх розового сарафана, и напоминала чем-то боярышню. Каблучками жёлтых, сафьяновых сапожков Груня нетерпеливо постукивала об пол.

— А и то правда,—вздыхнул Лука Иванович и, надев картуз, первым вышел на двор, где Каржавин, сидя у челобитного столба, срисовывал дворец.

Подбежав, Груня заглянула через плечо и захолопала в ладоши:

— Ай да Федя! Смотрите-ка!

Была она так искренца в своём порыве, что Каржавин вспыхнул и, чтобы скрыть смущенье, недовольно пробормотал:

— Ну, сестрице верить нельзя. Что вы скажете, Матвей Фёдорович?

Казakov подошёл ближе, прищурился.

— Красками увлекаетесь, живописностью; я уже говорил...

— А по-моему, хорошо,—раздумчиво про-



изнёс Баженов, — Феде удалось схватить дух строения, век его, сие я почитаю за главное.

— Ежели рисунок правлен — значит, красив, причём здесь век — не понимаю, — вспыхнул Казаков.

Баженов положил ему руку на плечо.

— Не шуми! Рисунок — рисунком, а живопись — живописью. Идею горячить надо. С помощью Фединой фантазии и твоего наилучшего обмера я сотворю из дерева модель кремлёвского дворца. Вот и не исчезнет вовсе Коломенское, — обратился он к Долгову.

— Ну, ежели так, — хивнул Лука Иванович, — а не пора ли, други, перекусить? Что-то оно, того. Да и время пятый час. Как посудите, ваше превосходительство?

Измайлов наклонил голову в знак согласия.

Все гурьбой пошли к дормезу, в котором приехали Долговы. Кучер Луки Ивановича расстелил на лужайке ковёр. Появилась копчёная рыба, пирожки на меду. Фляги из погреба вынимал сам Лука Иванович и, обтирая их полою поддёвки, бережно ставил в холодильник.

День был жаркий, почти летний. По небу шли ватные облака. Скинув поддёвку, Долгов разливал рейнвейн по чарочкам. Сёстры Груни, Прасковья Лукинична и Маша, обе в светлых платьях, хохоча нарезали хлеб.

Привстав с колен, Груня крикнула:

— Федя, что же вы!..

— Сей минут, сестрица, толико вот дома-люю малость, — и, бросив кисть, Каржавин

стал вытирать руки. Он был в одном камзоле, в батистовой рубаше с кружевными манжетами, но без кафтана: боялся замарать его красками. Парижский, шитый золотом кафтан висел на ветке дуба.

Баженов задумчиво смотрел на Груню. Была она такая же, как всегда: лёгкая в движениях, насмешливая и вовсе не хотела замечать его. Скрестив руки на груди, в который раз предавался он грустным размышлениям. А может, и впрямь люб ей Федя? С первой встречи, там, в саду Долговых, Баженов, пораздумав наедине, остудил своё сердце. Значит — не судьба. Не было злобы на Каржавина. Сам, по-дружески, призвал его к работе над Кремлём.

Как порешит Груня, так тому и быть.

...Давно утверждён план кремлёвского дворца. Восхищённая широтою замысла, Екатерина сказала: «Мы созданы друг для друга, господин Баженов, я для вас, а вы для меня». И тут же начертала на прожекте: «Быть по сему».

С тех пор Баженов успел дважды съездить в Петербург, достроил Арсенал и вот снова в Москве, принят у Долговых, как свой, ходит с Груней по модным лавкам, кружится с ней на качелях под Девичьим полем, а всё вчуже: ни жених, ни гость... Жук сел на рукав кафтана, Баженов хотел слдунуть его, но жук, раздвоив крылья, улетел сам, и он улыбнулся: рядом стояла Груня.

— Выпейте, — сказала она, подавая чару. Глаза её лучились, на зарозовевших щеках проступили ямочки.

Он принял вино, поблагодарил.

— Не так, не так, — рассмеялся Каржавин подходя, — в пояс кланяйся, Базиль Иванович, когда боярышня подносит. Во, а теперь в сахарны уста.

Груня вспыхнула.

— Уж вы всегда... — и, не договорив, бросилась бежать к своим.

Взяв Баженова под руку, Каржавин выше поднял чару:

— Друзья, первый тост за виновника торжества!

— Стойте, — сказал Казаков, — тут у меня есть поздравительное...

— Слушаем! Слушаем! — хором закричали все.

Казаков вынул смятый лист и ровным голосом начал читать:

Прости, престольный град, великолепно зданье
Чудесной древности, Москва, Россій блистанье!
Сияющие вёрхи и горда вышшы,
На диво в давний век вы были созданы.
Впоследни зрю я вас, покровы оком мерю
И в ужасе тому дивлюсь, сомнюсь, не верю,
Возможно ли гробам разрушиться, восстать
И в прежней красоте чуднее процветать!
Твердыням таковым коль пасть и восстанавлиться,
То должно, так сказать, природе применяться!
Но что не сбудется, где хощет божество!
Баженов! Начиная, уступят естество.

— Дерзай, Баженов, — уступит естество! — крикнул Каржавин, — виват!

Все потянулись чокнуться с Баженовым.

— А кто сочинитель сей? — спросил Долгов, вытирая бороду.

— Право, не ведаю,— ответил Казаков и заглянул в листок,— какой-то Гаври-ила Державин...

— Пиита отменный. Ну-ка, Иваныч, по родственному, я ведь, чай, тебя сызмальства знал,— и Долгов потянулся обнимать Баженова.

— Поздравляю,— коротко сказал Казаков,— а токмо у тебя, Вася, в расчётах Кремля ошибочка вышла. Я проверял.

— Ой, поссоримся, Матвей.

Казаков сдвинул брови.

— Не ври, брат! Ничего такого не будет. Люблю я тебя, земно кланяюсь твоему гению, а ругать буду. Поделуемся.

Баженов порывисто обнял друга.

Всё вокруг просветлело, быстрее неслись облака,— Баженов стоял, оглушённый приветствиями. Смеясь, плескали в ладоши сестры Груни, а она была вдалеке, и только уголки губ её вздрагивали, сдерживая готовую прорваться улыбку.

Аграфена Лукинична одна не подошла, не поздравила.

Баженов протянул Каржавину чарку.

— А ну, Федя, налей...

Его тронули за локоть, он обернулся и увидел Груню.

— Не пейте больше,— сказала она так строго, что Баженов смутился и поспешно поставил чарку на траву.

А Груня уже уходила.

У поворота аллеи Баженов нагнал её.

— Грушенька, за что вы на меня сердитесь?— спросил он, наклонясь к щеке, где

дрожал золотой, будто опалённый солнцем локон.

Груня, не отвечая, покусывала травинку.

По ступенькам, заросшим мохом, они вошли на галерею Вознесенского храма. Это была каменная повгородской кладки церковь, построенная по древнему обычаю — шатром. Чудный вид открывался с галереи. У ног текла спокойная Москва-река. Под холмом русло делало заворот, и река, разлившись, напоминала здесь озеро.

Низко склонённые ивы полоскали свои ветви в воде.

На том берегу был виден заливной луг. Тишина была кругом, только в саду слышался шорох крыльев, перепархивали птицы. Голосов их не было слышно, день замирал, и над рекой поднимался лёгкий, как пар, туман.

— Здесь вот, — сказал Баженов, указывая на каменный трон, стоявший в глубине галереи, — любил сиживать царь Алексей Михайлович. Отсюда следил он за стрелецкими полками, маршировавшими на том берегу.

Помолчав, он спросил:

— О чём вы думаете?

Груня улыбнулась:

— О вашем дворце...

Медленно шли они по узкой стёжке. Был уже вечер. Сквозь сгустившуюся синеву неба проступил месяц. От реки тянуло сыростью. Сняв с себя кафтан, Баженов накинул его на плечи Груни. Рука об руку шли они, позабыв обо всех, и, заслышав громкое ауканье Маши, поворачивали назад. Баженов рассказывал, как жили здесь в давно про-

шедшие времена. В майские светлые ночи яблони вокруг двора стояли, словно невесты, в уборе мелких душистых цветов. Слышно было, как, скрипнув дверцей, спускалась по лесенке теремная девушка. Озираясь, спешила она по лунной дорожке к реке. Сады были гуще в те времена, уходили за овраг, в село Дьяково, вились по склонам холма и на много вёрст окрест наполняли воздух благоуханием.

Груня остановилась, сорвала ветку яблони. Лицо и грудь осыпало лепестками. В эту минуту она была так хороша, что Баженов смолк, восторженно глядя ей в глаза. Усмехнувшись, Груня пошла дальше. Взор её опять стал строгим, задумчивым...

Идя рядом, Баженов продолжал рассказывать:

— От стонов колодников, пытаемых в застенках, просыпались птицы в Соколиной башне. Хрипло клекотали с перепугу охотничьи сокола в кожаных клубочках, надетых на голову. И снова замирало село. А теремная девушка шла, замороженная тишиной, ничего не различая вокруг. Отсчитывая часы, ударяли стрельцы в медное било. «Посматривай!»—сошно кричат сторожевые на башнях. Добежав до холма, девушка, перекрестившись, с криком подстреленной птицы бросается вниз, в быстрину...

— Много тайн хранит в себе Коломенский дворец,— закончил Баженов, беря Груню за руку.

Они вышли из-под арки Соколиной башни, где давно уж не было соколов, и остано-

вились на берегу реки. Луна заливала их синим холодноватым блеском.

Опустившись на траву, Груня пристально глядела перед собой, и непонятно было, то ли она грустит о давно прошедших временах, то ли думает о чём-то своём. Баженов сел у её ног.

— Что же вы молчите?—спросила Груня, и он, вздрогнув, заглянул ей в глаза.

— Вы и так всё знаете,—ответил он тихо,—я только об одном хочу сказать: ежели люб вам Фёдор Васильевич, откройтесь мне...

Груня засмеялась и, вдруг вскочив, крикнула:

— Догоняйте!

Минуту он стоял, ничего не понимая. Сердце, стуча, подсказывало ему, что сейчас вот, сейчас решится главное в жизни, и он, не веря себе, своему счастью, бросился вслед за Груней.

Запыхавшись, она остановилась у яблони, одной рукой обхватив ствол, и при виде Баженова опустила глаза. Испуганно дрожали ресницы. Голос был тихий, покорный,—с трудом выговаривая слова, Груня прошептала:

— Никто мне не люб, никто,—и, обняв Баженова за шею, крепко поцеловала в губы.

Погребальный звон растянулся над Москвой. Звонили в Кремле и в Китай-городе. Перекликаясь с Замоскворечьем, колокола

разносили весть о чуме. Кордоны стояли на всех заставах, но это не помогало: моровая язва, свирепствовавшая в Дунайской армии Румянцева, переползла в Молдавию и, через Украину, докатилась до Москвы.

Лето 1771 года было знойное, суховей распространял заразу.

Город опустел. С наступлением темноты на площадях зажигались костры. По улицам двигались телеги могильщиков. В просмоленных масках с пришитыми носами, под которыми были заложены ароматические травы, мортусы напоминали хищных птиц. Впереди шёл факельщик. Внимательно разглядывая дома, он искал на воротах чёрный крест, намалёванный дёгтем. В такой дом входили, вытаскивали крючьями одежду, мебель, складывали всё это на дворе и сжигали.

Заслышав скрип телег, жители гасили свет, плотнее задвигали ставни. Будто вымерла Москва. Но никто не спал в эти душные ночи, когда, казалось, горела земля, сам воздух, — густой, пропитанный дымом.

Грабежи и пожары вспыхивали во всех концах города. Войск не хватало. Лучшие полки воевали Турцию, а гарнизон Москвы состоял из инвалидов. Порой они сами грабили заболевших и, заражаясь, разбегались. Глухо волновалось Замоскворечье, где были расположены мануфактуры. Из-за скученности жилья люди мёрли здесь сотнями. Ткачи разбивали станки, поджигали хоромы хозяев.

Не в силах поддерживать порядок, главнокомандующий Москвы, граф Салтыков, бе-

жал в своё имение Марфино. Бежал тайком, окружённый офицерами, оружием расчищавшими путь карете, где сидел переродетый Салтыков.

...В эти грозные дни Баженов не прекращал работы над моделью Кремля. Каждое утро он отправлялся из своего дома в Средних Садовниках в мастерскую. Возле колокольни Ивана Великого был сколочен модельный дом. Минуты подъема сменялись отчаяньем: нехватало материалов, всё труднее становилось с едой...

Один за другим разбегались помощники.

Он осунулся, похудел. Тревожила мысль о семье. Аграфена Лукинична с первенцем Костенькой лето провела в селе Коломенском, а осенью, несмотря на уговоры мужа, переехала в Москву.

По возвращении из Коломенского он поселил семью в Кремле, а сам оставался ночевать в Садовниках.

Ночью он просыпался, вскакивал с постели. Гудел набат. В доме было пусто и темно. «Грунюшка,— звал он,— ангел мой!» Ощущая Баженов зажигал свечу и тут только видел, что находится не в Кремле, а в Садовниках. На стенах поблёскивали в золочёных рамах портреты учителей: Ломоносова, Шарля де Вальи, итальянца Растрелли. На бюро лежал план кремлёвского дворца. План всегда был с ним.

Дрожащими руками Баженов наливал в чашу зелёную, мутную водку, сыпал в неё морошку, залпом опрокидывал. В народе говорили, что настой морошки предохраняет от

заразы. Облокотившись на стол, он смотрел в окно. Ночь пылала заревом. Окно светлело, ширилось.

Накинув кафтан, Баженов выбежал на улицу, где толпа теней плясала у пожарища. Были собаки. С причитаниями, навзрыд, плакали женщины, умоляюще смотрели на Баженова. Мимо него волокли тела. Чумные или обгоревшие, — он не знал, — от плача, криков, воя кружилась голова, в груди закипала ярость против тех, кто не уберёт Москвы, прекраснейших её памятников.

Вместе с другими Баженов выносил скарб, рвал полотнца на бинты. Забывая, что в толпе могли быть заразные, — перевязывал обожжённых. Лицо его было сурово, брови сдвинуты, — резким, отрывистым голосом он требовал, распоряжался.

Бледнело, гасло зарево. Покрываясь пеплом, дотлеvalo пожарище, кричали петухи, — измученный архитектор возвратился домой. Умывшись, он долго рассматривал грудь, ладони, — чумных пятен не было, Баженов крепился и шёл спать.

Захватив кошёлку с едой, Баженов запер дверь на висячий замок и вышел в сад. Было раннее утро. В прозрачном воздухе дрожали паутинки. Сквозь пожелтевшую листву краснели яблоки. Баженов сорвал одно, раскусил. Яблоко было сочное. Пахло от него вином, свежестью утра.

Колокола гудели, но Баженов не слышал их, привык. Всё было попрежнему: у крылечек испуганно жались хозяйки, говорили, что есть поне нечего, заставы не пропускают на базар мужиков.

— Не от неё, так с голоду сдохнем,— пробасил какой-то бородач, слёвывая.

Пазывать чуму своим именем избегали.

Стоявшая рядом с бородачом женщина держала на руках дитя. Лицо матери, обтянутое иссохшей кожей, не выражало ни страха, ни отчаяния,— равнодушно смотрела она на говорившего. Ребёнок пищал. У него были восковые щеки, острые, просвечивающие ушки. От слабости он не мог плакать, закатив глаза стонал, а мать не слышала,— невидящим взором следила она за Баженовым.

В обгорелом кафтане, с развевающимися от ветра волосами, Баженов походил на сумасшедшего, которых много теперь было в Москве. Увидав Баженова, женщина выше подняла сына. Грязная тряпка развернулась, обнажая тонкие, как палочки, ноги ребёнка.

Глотая слёзы, женщина быстро запричитала:

— Подмоги, милостивый, совсем отощали! Что ж, помирать нам, а он-то, сыночек мой ненаглядный,— женщина прижалась щекой к мотавшейся головке ребёнка,— он-то за что терпеть должен?..

Баженов вынул из кошёлки припасённый хлеб, разломил надвое горбушку и растерянно оглянулся:

— А молоко-то,— сказал он,— в рот, что ли, лить?..

Женщина охнула в глазах её сверкнула безумная радость, исхудавшая рука потянулась к кринке.

— Сыночку, сыночку,— твердила она, по-детски улыбаясь.

У бородача, стоявшего в дверях, потемнели глаза, мелко затряслись губы, он выругался и, войдя в дом, гулко хлопнул дверь.

Баженов хотел сказать, что у него тоже годовалый сын, Костенька, но ничего не сказал, поставил кринку на землю и, улыбнувшись, погладил ребёнка по головке. Голова была большая, волосики нежные, как пух одуванчика.

— Не обкорми, смотри, помалу давай, по капле. Поняла?

Вздохнув, Баженов тронулся дальше.

Солнце припекало. На Москворецком плавном мосту обычно было людно: сапожных дел мастера стучали молотками, толпились продавцы разной снеди. Теперь всё замерло, не слышно ни говора, ни шума колёс. Посреди бревенчатого моста лежал труп коробейника. Лицо его, грудь, раскинутые ладони были в чумных язвах. Застекляневшие глаза широко раскрыты, и в них, отражаясь, плыло равнодушное небо. Рой мух вился над мертвецом. Жирные, с гноящимися глазами псы разбежались при приближеньи Баженова.

Держа платок у лица, архитектор перешёл мост и стал взбираться вверх по пыльной дороге. Пустынно было вокруг. Редкие пешеходы, озираясь, тащили под полой хлеб, да какой-то старичок, сколачивая домовину, гнусавил себе под нос:

Ой вы гробы, гробы, предвечные домы,
Сколько нам ни жити, вас не миновати...

Каждое утро, проходя через Варварскую площадь, Баженов останавливался у каменного водоёма, смачивал себе голову и брёл дальше. У часовни Боголюбской божьей матери под воротами Варварской башни толпились монахи, шло богослуженье. Сегодня народу было больше обычного. Купцы, бабы в чёрных платках — всё это волновалось и шумело. Трепетали на ветру жёлтые огоньки свечей.

Баженов подошёл ближе.

Взгромоздясь на бочку, какой-то молодец в расстёгнутой на груди рубахе бил себя по нательному кресту, надрывно выкликая:

— Порадейте, православные, Боголюбской божьей матери на всемирную свечу!

С глухим звоном сыпались в железный сундук медяки, серебряные гривны.

Одной рукой придерживая крышку сундука, поп протягивал ладонь тем, кто не мог издали бросить в сундук алтын, а если монета падала мимо, становился на колени и, не выпуская крышки, шарил рукой в пыли. По лицу его катился пот, седая бородёнка тряслась, как у козла, голос был визгливый, — стараясь перекричать молодца, поп причитал по-бабьи:

— Видение ему было, братие, мать божия во сне сподобилась и говорит... Сюда давай, сюда, — тянулся поп за гривной, — и говорит ему, православные: тридцать годов ждала я молебна, никто свечи не возжёт, и будет вам каменный град, а он отмолил, за-

место граду — быть мору чумному. Пора-а-дейте, люди добрые, во спасение своё...

Стоящий позади Баженова купец в синей поддёвке, тяжело дыша, полез за пазуху, вынул кошель и, достав медный грош, протянул архитектору.

— Передай, касатик...

Баженов машинально взял монету и тут же отбросил её. На ладони купца пылало красное пятно.

Купец затрясся, побагровел:

— Ты чего, чего,— повторял он, словно в бреду. Глаза его всё расширялись, и, покачнувшись, купец грузно, как мешок, осел на землю, схватился за грудь.

— Братцы,— кричал он,— родные, помогите, душно мне... томно!

С воем толпа отпрянула от купца, а Баженов стал вытаскивать из кармана огниво. Пагнувшись, поднял с земли кусок пакли. Дрожаящими руками силился высечь искру. Через мгновенье пакля затлелась. Баженов приложил её к пальцам, которыми только что брал от купца монету, и закусил губу. Бледный, стоял он так с минуту, потом, не оглядываясь, быстро пошёл прочь, а вслед ему несся слабевший голос купца:

— Братцы! Горю! Православные...

Подгоняемый криками, Баженов бросился бежать. Сердце его стучало, в глазах помутилось. Останавливаясь, он рассматривал руку. «Домой бы не занести,— думал Баженов и, оглядывая Красную площадь, не узнавая её, повторял в отчаяньи,— Господи, за что казнишь!»

Часы на Спасской башне проиграли полдень.

Прежде чем войти в дом, Баженов зажёл огонь на таганце, бросил в него можжевельника. Ветви затрещали, дым окутал сени. Приподымая полы кафтана, Баженов поворачивался на все стороны. Едкий дым жёл глаза, кашляя, архитектор жмурился.

Заслышав шум, Аграфена Лукинична выбежала в сени. Баженов закричал:

— Не входи, не входи. Закрой двери!

Спустя полчаса, окутившись, он вошёл в горницу. Аграфена Лукинична молча обняла мужа, веки её дрогнули от слёз. Баженов гладил жену по русым волосам.

— Ну что с тобой, вот глупая...

Пряча голову на груди его, она промолвила:

— Василёк, милый, я так тревожилась за тебя...

В голосе её слышалось затаённое желание. Он знал, о чём она будет просить, и боялся этого.

Аграфена Лукинична прошептала:

— Давай уедем, хорошо?

Он кивнул.

— Когда же, Василёк?

— Окончу и уедем.

Минута прошла в молчаньи: слышно было, как тикали часы. Баженов поцеловал жену в лоб.

— Не будем об этом. Надо беречься, и всё тут. Как Костенька?

— Спит,—упавшим голосом ответила Груня и вышла.

Задумавшись, он смотрел ей вслед.

«Уехать? Бросить план, модель, работу двух лет? Никогда! А сын?— Ему вдруг припомнилась женщина с ребёнком, закатившиеся его глаза...— И с ним то же будет, с Костенькой.— Баженов сел, закрыл лицо руками.— Пет, не мечта, рухнет дело всей жизни. Казаков уехал, всё угрюмей становится Каржавин,— может быть, никому не нужен его дворец, от императрицы ни слова, выплату прекратили, но ведь чума не вечна, пройдёт и работы возобновятся».

Долго сидел он так, не двигаясь. Слышно было, как через ровные промежутки звонили на колокольне Ивана Великого. За окном билась птица, опалившая крылья на пожаре.

Всё пыталась взлететь и не могла...

20

Был уже вечер. Отужинав, Аграфена Лукична сидела с Костенькой на лавке.

Укачивая сына, она тихонько напевала.

Гулко шагал по горнице отец Баженова. Косясь на дверь мастерской, Иван Фёдорович наклонялся к невестке, что-то говорил ей.

Бормотанье отца становилось громче. Не выдержав, Баженов швырнул линейку, вошёл в горницу.

— Ну, о чём вы тут? Спать пора...

Аграфена Лукична приложила палец к губам. Осторожно приподнявшись, перенесла сына в зыбку, задернула полог.

Помолчав, она ответила:

— Иван Фёдорович сказывают: в городе неспокойно.

Дьячок перекрестился:

— Истинно говорю, да и как не быть лиху. Преосвященный Амвросий послал к Варварским воротам икону Боголюбской божьей матери сымать. От соблазна, значит, ино от заразы. Только это стали на сундук печати накладывать, как зашумит толпа: чего смотрите, Боголюбскую божью мать грабят!.. Что тут соделалось, передать невозможно. Богохульными словесами владыку поносили, умертвить грозилась...

— Ничего,— кивнул Баженов,— пошумят и разойдутся.

Дьячок исподлобья взглянул на сына, но промолчал.

— Батюшке лучше у нас заночевать,— сказала Аграфена Лукинична.

Старик вдруг заторопился, начал увязывать кулёчки, куда Груня напихала ему всякой снеди.

— Благодарствуйте, я уж пойду.

Перекрестив внука, Иван Фёдорович поклонился невестке за хлеб-соль и, не прощаясь с сыном, вышел.

Заперев дверь, Баженов вернулся в горницу. В раздумье прошёлся по скрипящим половицам.

— Небось про отъезд говорили?

Аграфена Лукинична убирала со стола. На лице её застыла грустная покорность.

— Говорили..

— Экий какой заботливый стал, а когда я...— Баженов, вздрогнув, остановился.

Сплошной набат гулом наполнил горницу. Груня приподнялась с лавки.

Безмолвные, они смотрели друг на друга.

— Горит где-нибудь?..

Аграфена Лукинична бросилась к люльке. Вынув спящего Костеньку, торопливо стала его закутывать в одеяло.

В дверь постучали.

Баженов открыл и столкнулся с испуганным отцом.

— Ну,— спросил Баженов,— что там?

Иван Фёдорович пробормотал:

— Хоронитесь! На Кремль идут. Бегу предупредить владыку.

И пропал в темноте.

Стоя в дверях, Баженов чувствовал на шее прерывистое дыхание. Обернулся: позади — жена, уже одетая, с ребёнком.

Крепко взял её за руку.

— Идём...

Не спрашивая, молча шла она за ним. Скрипнула дверь мастерской. В лицо пахло запахом стружек, клея. Баженов достал с полки фонарь, зажёл его. Пламя тускло озарило сарай с моделью Кремля, расставленной на земляном полу. Модель была в аршин высоты и с точностью воспроизводила здания кремлёвских соборов и колоколен. Посреди высился незаконченный прямоугольник дворца со множеством колонн, белевших в полумраке.

Баженов замкнул дверь, подпёр её бревном, задвинул ставнями окна, кроме одного, выходящего на площадь Чудова монастыря. Положив рядом с собой ребёнка, Аграфена

Лукинична в изнеможенъе опустилась на лавку.

— Василий Иванович, что же это будет?..

Не отвечая, Баженов вынул из ларца, где хранились чертежи, пистоль, насыпал порогу и взвёл курок.

В последний раз окинув взглядом свою модель, Баженов подошёл к окну.

Издалека, словно в прибое, катился нарастающий гул. Аграфена Лукинична порывисто обняла мужа. Он вздрогнул, быстро наклонился и три раза, как на пасху, поцеловал её в холодные губы.

Послышался топот бегущих ног, частые, дробью — удары в ворота. Что-то треснуло, раздался отчаянный вопль: «Вей его!» Мимо модельного дома пронеслась ватага гостинодворцев. При свете факелов видны были тени, перепрыгивающие одна другую. Иван Великий вдруг затих.

Вооружённая топорами, дрекольем, толпа ломилась в Чудов монастырь. Рухнула с петель дверь, по ступенькам покати́лась чёрная фигура служки. Со звоном брызнули стёкла. В толпе Баженов видел зелёные кафтаны подьячих, мелькавшие там и здесь рясы монахов. Сенатские стражники тащили золотые подсвечники, чаши. Жемчуг, драгоценные камни зерном сыпались на землю, — солдаты рвали друг у друга парчу, дрались, падали.

Вскрикнув, Аграфена Лукинична закрыла лицо руками.

— Молчи, — прошептал Баженов.

В окне мелькали люди. Видя архитектора с наведённой пистолью, люди шарахались,

пропадали в дыму и вновь появлялись, озверевшие, залитые кровью. Дым застилал площадку, огоньки вспыхивали во тьме, как искры. Опять загремели колокола.

Какой-то подьячий, волочивший по земле ризу, прорсунулся в окно мастерской, крикнул:

— Выходи вон, черно книжник!

Рукой он ухватился за раму, взмахнул топором.

Качнувшись всем корпусом вперёд, Баженов выстрелил: эхо отдалось в мастерской.

По лицу Баженова крупной дробью катился пот. Рука, сжимавшая пистоль, дрожала, другой он поддерживал Груню за талию.

Неизвестно, сколько прошло времени. Ещё долго были слышны удалявшиеся голоса — прогремел пушечный залп, и всё смолкло. Баженов растерянно глядел на жену. Лицо её было бледно, глаза закрыты.

Осторожно положив Аграфену Лукиничну на землю, Баженов опустился на одно колено. Она дышала, это был обморок. Вглядываясь в лицо Груни, Баженов заметил, что русые её, в кольцах, волосы стали на висках белыми, как серебро.



ГЛАВА ПЯТАЯ

21

Пакануне закладки Кремля, Баженов, сидя в мастерской, писал торжественное слово.

Окно было раскрыто.

Ветерок теребил волосы, шелестел бумагами. Тишина июньского вечера нарушалась треском молотков. На площади рабочие прибывали щиты с виршами господина Сумарокова.

Поднимая голову, Баженов в задумчивости вертел перо и в сотый раз перечитывал намалёванный на арке стих:

Да процветёт Москва подобьем райска крпца,
Возобновляет Кремль и град Екатерина!

На торжество закладки Екатерина прибыть не изволила, но этикет требовал обращения к ней, как к присутствующей, и он писал:

«Се ко твоему Сиону стекаются жители
многонародного обиталища, видети о нём по-
печение Премудрыя Екатерины...»

Так ли оно?

Дни недавнего разорения, мора чумного
невольно вставали в памяти Баженова.

...Ему опять привиделась та ночь, когда
он с дымящейся пистолью в руке бросился
к окну. Дым застилал площадь: горели под-
валы Чудовской обители. Архиепископ Ам-
вросий бежал. Уже на утро, настигнутый
толпой, он был убит в Донском монастыре.

Трое суток гремел набат, трещали вы-
стрелы.

Императрица послала в Москву Григория
Орлова, пушками и виселицами умиротворив-
шего народ. За оные действия Орлову были
воздвигнуты благодарственные ворота в Цар-
ском селе, а казнённых свезли за город, где
и сожгли во избежание заразы. «Вот оно
истинное попечение о благе народном», — ду-
мал Баженов, покусывая в рассеянности перо.

По о том умиротворённые молчали.

Баженов встал, прошёлся по мастерской.
Всегда так: вспомнишь — закипит ретивое. И
нет уже спокойствия, ясности душевной.

Прожаживаясь по мастерской, он слышал,
как, укачивая сына, Груня тихонько напе-
вала:

А моё ли то дитя во высоком терему
В шитом, браном пологу, во серебряном кругу..

Улыбнувшись, он сел и взялся за перо.
Мысли теснились, пережитое всеяло уве-
ренность в окончательной победе.

«Ликуйствуи, Кремль,— писал Баженов,— в сей день полагается первый камень нового Ефесского храма, посвящаемого божией в России наместнице, толико же и добродетелями, колико своим саном сияющей. А я, будучи удостоен исполнять монарши повеления в сооружении огромного дома и всего великолепного в Кремле здания, готовясь зачати оное, почитаю должностью нечто молвить о строгостях московских, ибо то к сему дню и к делу пристойно, и нечто выговорить и о своей профессии, ибо здание здесь начинается...»

«...А началось здание давно, много раньше чем увидел он зубчатые башни Кремля, ибо то здание — Москва, родина. Нерушима твердыня её. Разоряли татары Русь, горела Московия в дни нашествия ляхов, горела и позже, когда засыпал он, убаюканный пеньем матери, а устояла земля русская, и венцом сияет над ней Кремль. Стоять зданию вечно, и будет стоять сотни веков после него, а всё дело жизни его — не более камня, ежели сумеет он вложить свой камень в стены кремлёвские...»

С минуту Баженов сидел неподвижно, прислушиваясь к голосу Груни, но не мог вспомнить слов песни, которую пела ему в детстве мать, и, обмокнув перо, продолжал:

«...Иоани Данилович, сын Даниила Александровича и внук Александра Певского, воспитанный в Москве при отце своём, соделася наследником Российского Великокняжеского престола; возрастя на прекрасных местоположениях Москву, по благословению Петра Митрополита, пренёс Российский трон

из Владимира, а с ним и Митрополит переселился в Москву. Остаток бора, лежащего на горе кремлёвской, окружающего Спасский монастырь, вырублен, а бывшая там монашеская обитель перенесена на Язу и названа Повоспасским монастырём: осталась только посреди Кремля одна церковь, называемая и поныне Спас на Бору.

От сего бора назван и Боровицкий мост...»

И будто раздвигались кривые улочки, шумели листвою сады...

«Замоскворечье,— писал он, захваченный воспоминаньями,— составляло слободы переведенцев, как были переведенские слободы и в Петербурге. Где ныне ряды и гостинный двор, тут было поле, а потом поставлены деревянные лавки, ради торгу. При сих рядах поставлена потом ради торгующих церковь Великомученицы Варвары, отчего улица Варварка и имя получила. Жилище великих князей был Кремль, на коем месте и наша Монархиня ныне дому Императоров Российских основание полагает. Китай стал потом жилищем мещан торгующих. Тверская, Никитская, Воздвиженка, Дмитровка и Петровка первые населены были, и лучшие князи, господичи и дворяне на них обитали, а особливо на концах, ко Кремлю и Китаю касающихся, поблизости дворца и рядов. Тверская, лежащая по хребту высшей горы, знатнейшею почиталась улицею, нося потом имя улицы Царёвой, как Пикитская имя улицы Царицыной. Пречистенка была улица конюшей, касаясь почти самому Боровицкому мосту и, следовательно, конюшему и колымажному дворам.

На Девичьем поле косили сено на государские конюшни, а на Остоженке ставили стоги...»

Баженов мельком глянул в окно. Темнело. В небе дрогнула первая звезда.

«...Где ныне Земляной город,— писал он,— тут жили мелкие обыватели, а потом стрельцы и всякие ремесленники. По временам Иоанна Даниловича Москва, яко центр российских земель, стала год от года размножаться. Во время великого князя Иоанна Васильевича она воссияла, ибо он увеличил Кремль и обвёл его новыми стенами, гордыми украсив их башнями. Во время сына его и внука красоту свою и веление умножала, а внук его царь Иоанн Васильевич воздвиг стены и башни Китая. Царь Борис Фёдорович Годунов, а по нём царь Михаил Фёдорович, царь Алексей Михайлович, царь Фёдор Алексеевич ещё Москву и распростирали и украшали. А потом и время и радение обитателей привели её в то состояние, в коем мы её видим. Но упадающие царские чертоги не могли больше стояти без страха и были готовы ко всеконечному разрушению...»

Замирая, всё тише доносился голос Груни:

У того ли, у дити, люля точена,
Люля точена, позолочена...

На Спасской башне куранты проиграли два, потом три, а он продолжал писать, не разгибаясь, не глядя в окно. Треща, угасала свеча. Баженов задул её.

В рассеивающемся тумане возникли башни Кремля.

Орлы над ними плыли в своём, ещё не загоревшемся опереньи.

Прокричал петух.

В доме все спали. Была та тишина утра, когда чуть слышный шорох ветки за окном, первый вскрик птицы — кажутся единственно возможными в этом мире звуками.

В окно заглянул Каржавин.

— Вася, отопри...

Баженов встал и тут только почувствовал сковывающую тело усталость. Потянувшись, он зевнул и, перекрестив рот, снял с двери щеколду.

— Есть новости? — спросил он.

Каржавин покачал головой. Лицо его было угрюмо.

— Тогда садись и слушай.

Стараясь не глядеть другу в глаза, Каржавин сел, а Баженов взял со стола испитые листки.

— Это моё слово, — улыбнулся он в поясненье и, точно боясь, что его прервут, начал торопливо читать дальше:

— «Щедрая мать отечества нашего! Я все мои силы и всё моё знание употреблю и принесу на жертву твоему повелению. Желаю, чтобы сие почтенное художество на сем месте во всей своей славе воссияло и было бы сие жилище достойным обитания Великия Екатерины, и сколько Рим и Италия принесли мне одобрения, толико бы принесли мне похвалы за сие начинаемое мною со-

зидание и столько милосердного снисхождения от моей государыни...»

Сидящий на ларе Каржавин усмехнулся.

Баженов перевернул лист и продолжал, всё возвышая голос:

— «Египтяне первые привели архитектуру во презрядный порядок, но, не довольствуясь только хорошим вкусом и пристойным благолепием первоначальным едину огромность почитать начали, от чего и пирамиды их, возносяся к небу, землю отягощают, гордяся многолетними и многонародными трудами и многочисленною казною. Греки хотя и всё от Египтян и Финикиян ко просвещению своему получили, но, став лучшего и почтеннейшего на свете охотниками и введя сию охоту во весь народ, архитектуру в самое привие изящное состояние. Родилися от египетской несовершенной архитектуры три в Греции ордера: Дорический, Ионический и Коринфский: важный, нежный и цветной, разные в них размеры и расположения, но все приведены в совершенные правила, и все огромностям посвящены быть могут. Некоторые думают то, что и архитектура, как одежда, входит и выходит из моды, но как логика, физика и математика не подвержены моде, так и архитектура, ибо она подвержена основательным правилам, а не моде». Сие я почитаю важнейшим! — воскликнул Баженов, вскакивая с места.

Каржавин молча перевёл взор на друга. За окном светлело утро. Осунувшееся лицо Баженова, вся его фигура, устремлённая вперёд, — вызывали в Каржавине глухое раздра-

жение. Он нахмурился, крепче стиснул зубы, а Баженов, ничего не замечая, продолжал читать громким, взволнованным голосом:

— «Когда Готы овладели Италией, они, привыкнув к великолению зданий римских и не проникнув того, в чём точно красота здания состоит, ударились только в сияющие архитектуры виды и, без всякого правила и вкуса умножая украшения, ввели новый вид созидания, который по времени получил от искусных, хотя и не следующих правилам, огромность и приятство...»

— «Такого рода наша Спасская башня,—махнул рукой в сторону окна Баженов,—но koliko она ни прекрасна, однако не прельстит толико зрения, как башня Гавриила Архангела. Грановитая палата хороша, но с Арсеналом сравниться не может. Колокольня Ивановская достойна зрения, но колокольня Девичья монастыря более обольстит очи человека вкус имущего. Церковь Климента покрыта золотом, но церковь Успения на Покровке больше обольстит имущего вкус, одна смесь прямой архитектуры с Готическою, а другая созиждена по единому благоволению строителя. Видим мы в Москве некоторые хорошие здания и кроме тех, кои мною наименованы. Все кремлёвские башни хороши. Церковь, называемая Николы большого креста, церковь Иоанна Воинственника и может ли ей уподобиться стоящая близ оной у некоторой церкви подобные ей тягостные колокольни, вшедшие в моду подобием обезображивающих дома подъездов. Хорошо состроен Архангельский собор, хотя и обруши-

лись его галереи в прошлые годы. Царские теремы в Кремле своё достоинство имеют, и великолепна церковь на рву у Спасских ворот, хотя приделами после и попорчена. Хороши готические здания Сухаревой башни и Университетского у Куретных ворот дома. Прекрасен берег Аннинского дворца и мосты. Прекрасны ещё в Москве дома: Главная аптека, и был бы дом сей ещё прекраснее, когда бы не было при нём нужной аптеке лестницы. Казённый дом на Сретенке, бывший князя Голицына, на Знаменке князя Воронцова. А всех домов прекраснее дом князя Гагарина на Тверской. Имеет великолепие и Воздвиженский монастырь! И приютство церкви Варсонофьевская и Воскресения в Колошове с её лёгкою колокольнею... Великая государыня!» — заметив, что Каржавин его не слушает, Баженов бросил листки на стол.

Согнувшись, Каржавин сидел на ларе бледный, в парижском, заношенном кафтане, с ненапудренной головой. Руки его, опущенные вдоль поникшего тела, были так выразительны в своём бессилии, что Баженов невольно спросил:

— Фёдор, стряслось что-нибудь?

Каржавин устало покачал головой.

— Ничего, Базиль Иванович. Всё худое ты уже знаешь: нету денег. А когда пришлют и пришлют ли, бог весть, — он помолчал, словно раздумывая, как бы вернее сразить Баженова, и усмехнулся, — ты вот здесь египтян да финикийн во гробах переворачиваешь, а всё это пустое, словеса одни. Не бывать стройке, — продолжал он, отводя глаза в сто-

рону,—вчера экспедиция разочла двадцать каменных дел мастеров, сегодня уходят резчики...

Баженов прошёлся по мастерской. Остановившись, хрустнул пальцами.

— Да-да, я знаю. Что же делать, Фёдор? Писать государыне? Я уже писал. Опять ехать в Петербург?..

И вздрогнул, слышав вкрадчивый голос Каржавина:

— Не в Петербург, Базиль Иваныч...

— А куда же?—быстро спросил Баженов. Улыбаясь, Каржавин смотрел прямо перед собой.

— В Париж...

Баженов пожал плечами.

— Шутки играть изволишь, Фёдор. Воля твоя, а мне недосуг.

Всё так же, глядя в одну точку, Каржавин проговорил безразличным голосом:

— Нет, брат, не шутки.

И, оглянувшись, поманил пальцем Баженова. Тот подошёл недоумевая.

— Па Яике беспокойно,—шептал Каржавин на ухо склонившемуся Баженову,—казаки восстали. Атаман их—Пугачёв—из Казанской тюрьмы бежал, народ мутит.

— Слышал,—кивнул Баженов.

— Ну, вот. В подмётных письмах Казань сжечь грозитя, а потом на Москву.

Баженов опустил в кресло. Долго смотрел себе под ноги. Недоверчиво перевёл взгляд на Каржавина.

— Врёшь,—тихо сказал Баженов, чувствуя, как тяжёлый гнев закипает в груди,—

и всё ты врѣшь, Фѣдор. Никогда ему до Москвы не дойти.

— А сие видел?— спокойно ответил Каржавин, подавая бумагу, вынутую им из кафтана.

Это был подмѣтный лист, писанный по-славянски, где сообщалось о чудесном спасении благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя Петра Фѣдоровича от рук мужеубийцы и захватчицы престола российского, Екатерины Второй.

— А может взаправду спастся?— спросил Баженов.

— Дитѣ ты, Базиль Иванович. Петра Орловы в Ропше задушили, а э тот... Да что толковать!— оборвал он вскакивая.— Азиатчина заваривается, похуже смутного времени...

«Ты же сам хотел этого»,— чуть не сорвалось с губ Баженова, но он удержался, крепче стиснул зубы. По-новому, отчуждённо смотрел Баженов на друга и не верил его горячности. «Пустобрѣхом был, пустобрѣхом остался»,— припомнились слова Долгова. Да и Лука Иванович хорош, ездит по городу в карете, жалуется встречному-поперечному, что обмишулился, выдал дочь за голодранца. «Один я, противу целого мира»,— с грустью думал Баженов.

— Крутенька каша будет,— продолжал Каржавин, размашисто шагая по мастерской,— да раслѣбывают пусть другие, а я слуга покорный,— он склонился до земли, ладонью, по-боярски, касаясь пола, и, вдруг выпрямившись, сверкнул глазами,— и тебе не позволю!

Баженов ещё раз перечёл лист, вернул его усмехнувшемуся Каржавину, поднялся с кресел.

— Так,— сказал он медленно, словно с трудом выдохнул из груди застрявший комок, и выше вскинул голову,— выходит, твоя правда, Фёдор,— голос его крешнул, и Каржавин с удивлением смотрел на оживившееся лицо друга,— а толико не разумею я,— строго продолжал Баженов,— отчего должны мы праздновать трусу? Честь капитана последним оставлять корабль. Будь что будет, а я не уйду! Моё здесь всё,— он указал на стены, где поблёскивал в овальной раме портрет Ломоносова, задержался взглядом на корешках книг, зазолотившихся в первых лучах солнца, твёрдо закончил:

— Пережили чуму, переживём и усобицу.

Каржавин тронул его за плечо:

— Василий Иванович, в последний раз упреждаю: выслушай меня. Вспомни парижскую нашу встречу. Ещё жив де Вальи, и Лудовик от слов своих не откажется. Слава ждёт тебя, Василий Иванович, а здесь разор один и таланта поруганье. Одумайся, ежели не себя— сына, Аграфенушку пожалей,— и, стиснув руку, испытующе заглянул в глаза,— едем, пока дороги свободны..

Баженов покачал головой. Не выдержав, Каржавин бросил оземь шапку, топнул ногой:

— Не о себе пещусь! Вразумись: ей-то за что страдать?..

Сжав губы, Баженов молча, сосредоточенно смотрел на Каржавина. Таким не случалось его видеть никогда, и вдруг, словно варом,

ожгло сердце: «А что если и в Груне он ошибался?» А Каржавин выкрикивал, уже не в силах сдержать наболевшее:

— Всё ты отнял у меня, всё... Последнее! Певесту отнял!.

Схватившись за голову, Фёдор Васильевич выбежал из мастерской, гулко хлопнув дверью.

Шаги его прогремели по доскам и смолкли.

Аккуратно собрав в пачку исписанные листки, Баженов придавил их куском мрамора, постоял немного и на дышочках вошёл в опочивальню. Здесь был сумрак. В полузакрытом шторой окне расцветало утро. Щебетали птицы. Сперва несмело, потом всё громче, уверенней. Свет падал на спящую Груню. Волосы её рассыпались по подушке, и в ровном дыхании, в безмятежности сна было разлитое такое спокойствие, что Баженов замер, боясь пошевелиться.

Дрогнув ресницами, Груня приоткрыла глаза:

— Василёк, ты что?..

Баженов чувствовал, как защемило у него в горле и по губе скатилась солёная капля. Ещё мгновение и он бы кинулся к Груне, стал бы жадно целовать эти руки, плечи и, прижав к груди, спросил бы горячим шопотом: любишь, веришь мне?..

Стиснув спинку кресла, он наклонился над постелью:

— Рано ещё, спи...

И, поцеловав жену в лоб, вышел.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

23

Из Парижа Каржавин писал Баженову:
«Любезный друг мой, Василий Иванович!
Забудь, ежели сможешь, а не осилишь
себя — пусть всё останется между нами.
Проклинай, но не жалея меня. Я уже, слава
всевышнему, не коллежский актиариус в чине
подпоручика и не сын купца первой гильдии,
а опять свободный гражданин Вселенной.
В амстердамских курантах читал я позаимст-
вованное из Санктпетербургских ведомостей
описание закладки Кремля. Радуюсь и по-
здравилю. А в Париж я не надолго, еду от-
сюда на Мартиноку лекарем, а ежели удаст-
ся, то и дальше в Америку. Искать еду
правду, ибо сильное имею беспокойство о
неустроенности человека на земле. Не о себе

пещусь. Пусть ищут милости те, кто недостойны, я же заслужу своими достоинствами, своими трудами, своею наукою...»

Много раз перечитывал Баженов это послание, словно отыскивая скрытый для себя упрёк, и, не показав письма жене, уже не расставался с ним.

А всё вышло так, как предсказал Каржавин.

Вскоре же после торжества закладки работы прекратились. Прибывшая из Петербурга комиссия признала, что грунт Кремля из-за подтачивающих вод Москва-реки вовсе непригоден для возведения столь грандиозного здания.

В доказательство члены комиссии упоминали о трещине, образовавшейся в стенах Архангельского собора.

Баженов бросился к Измайлову. Начальник дворцовой экспедиции подтвердил выводы комиссии, сославшись при этом на чрезмерную смету строительства, коя, ввиду затянувшейся войны с Турцией, покрыта быть не может.

— По сие... временно,— запинаясь, спросил Баженов,— впредь до окончания войны?

Измайлов пожал плечами.

— Ваше превосходительство,— твёрдо сказал Баженов вставая,— я бы желал точно знать о судьбе дела, которому отдал годы неустанного труда, всё сердце моё и знание...

Он говорил спокойно, но был бледен и поминутно вытирал лоб платком.

Генерал, раскладываящий пасьянс, улыбнулся:

— Ежели не верите, справьтесь в Петербурге. Работы прекращены по высочайшему повелению.

Баженов оперся руками на стол. Голос его был глух, по попрежнему твёрд и решителен.

— Благоволите, ваше превосходительство, представить мне сии распоряжения.

Измайлов вынул из бюро лист, протянул его архитектору и опять углубился в пасьянс.

Буквы прыгали перед глазами Баженова.

— По здесь сказано, что работы откладываются временно. На каком же основании вы распорядились засыпать вынутую землю?

Измайлов молчал.

— Я вас спрашиваю!— крикнул Баженов.

Смешав карты, генерал медленно поднялся с кресел. Лицо его под напудренным париком побагровело, губы тряслись.

— Ах, вы вот как заговорили? Отлично, сударь, отлично,— Измайлов мял в руках и отшвыривал карты,— ну так знайте, сударь, что государыне известны все ваши проделки, все ваши махинации со счетами...

— Тогда судите меня,— спокойно ответил Баженов.

— И будем, не беспокойтесь. Вас и этого вашего приятеля, как бишь его, Каржавипа, да вот именно, Каржавина, сбежавшего с казёнными суммами...

— Ложь!— крикнул Баженов, и лицо его залилось краской.— Да, Каржавин приятель мой, но он честнее всех вас. Наряжайте следствие! Слышите! Я требую! Сам! Я буду жаловаться,— и, схватив со стола папку с чертежами, Баженов выбежал из кабинета.

На площадке он остановился, прислонившись спиной к двери. В глазах рябило, сердце билось толчками,— ярость и бессилие сдавили его.

Овладев собой, Баженов кинулся вниз по лестнице. У него уже созрел план. Немедленно ехать в Петербург. Потребовать расследования. Жалобу в сенат. К государыне! Он задышался...

Настречу с портфелем — перепуганный Казаков.

— Василий Иванович! Что стряслось?

Баженов положил ему руки на плечи.

— Матвей,— сказал он тихо,— спаси, что можешь, главное, не давай разбирать фундамента. А я,— он глотнул воздуха, дико глянул по сторонам и вдруг усмехнулся,— я, брат, сейчас еду...

24

Дрожки прогремели по Каменному мосту и, подпрыгивая на ухабах, покатались кривыми улицам Замоскворечья. Было душно. Грозовая туча нависла сине-багровым подтёком и, расширяясь, ползла навстречу солнцу.

Ветер и быстрая езда охладили Баженова. Приглаживая растрепавшиеся волосы, он пытался собраться с мыслями, и всё уже казалось не таким страшным. Орлов уладит. Только бы застать его в Москве. Должен уладить...

— Чего-с?— обернулся ямщик.

— Ничего, это я так. Гони! Полтину на водку. А здорово я его! — рассмеялся Баженов.

Ямщик испуганно покосился на седока, ударил по лошадям.

— По-о вы, залётные!..

Вихрем пронеслись они, вздымая пыль, через Калужскую площадь, и вот уже блеснул в туче золочёный купол Донского монастыря. А вон и сады Демидова, великолепные парники и оранжереи, восхищавшие москвичей.

Подъехав к воротам дома обер-провиант-мейстера Походящева, где обычно гостили Орловы, Баженов соскочил с дрожек.

— Жди меня здесь,— кивнул он кучеру и бросился по аллее, ведущей к дому. Справа и слева шелестели дубы, чуть тронутые желтизной. Падали листья. Их было много, они шуршали под ногами.

Позади дома, видимо со двора — доносились крики, рёв, улюлюканье.

Баженов остановился в недоумении. К нему уже спешил камердинер в ливрее Орловых.

— Вам кого, батюшка?

И ещё раз подозрительно оглядел Баженова, одетого в серый, демикотоновый кафтан, разлохмаченного, без парика, с запялёнными туфлями.

— Мне нужно видеть князя Григория Григорьевича. Немедля! — добавил Баженов и, не обращая внимания на замешательство лакея, взошёл на террасу.

— Как прикажете доложить?

— Архитектор Баженов. Да вели подать мне папиру, перьев...

Камердинер ввёл его в полутёмную приёмную, почтительно указал на бюро. Свеча была

зажжена. Лакей с поклоном затворил двери и побежал докладывать.

Тут же, не садясь, Баженов вынул из поставда гусиное перо, попробовал на палец — остро ли очинено. И задумался. Пришли на ум слова из письма Каржавина: «Пусть ищут милости те, кто недостойны...» «Ну что ж,— вздохнул он,— значит, не заслужил я достоинства своими трудами, своею наукою...» Подписавшись под прошением, Баженов угрюмым взором окинул приёмную. У окна, спиной к нему, стоял до странности знакомый человек. В чёрном кафтане, высокий, художавый...

— Повикòв! — громко сказал Баженов.

Стоявший у окна обернулся. Это был студентский товарищ Баженова.

— Вася! Василий Пванович,— поправился он, подходя и крепко пожимая руку,— вот так встреча! Какими судьбами?

Баженов объяснил: на приём к Орлову.

— К Григорию?

— Да.

— А я к братцу, Алексею. Да, видно, не дождусь, когда их сиятельства соблаговолят принять. Вот не угодно ли полюбопытствовать,— и Повиков, взяв Баженова по университетской привычке за талию, подвёл его к окну.

На площадке, усыпанной песком, дворовые гоняли огромного медведя. Они били его палками, кололи вилами в бок и, отскакивая в разные стороны, улюлюкали, а медведь, неуклюже озираясь, ревел, вздыбленный делал несколько шагов на задних лапах и

опять тяжело падал, урча от ярости. Пасть его была раскрыта, с красного языка бежала слюна.

— Чего доброго, сырым мясом кормлен,— равнодушно, с оттенком презрения в голосе пробормотал Повиков.

Баженов молча кивнул. Он видел, как с лавки поднялся широкоплечий мужчина в парчовом кафтане, со шрамом через всё лицо. Это был недавний победитель турок при Чесме, генерал-адмирал граф Алексей Григорьевич Орлов.

Скинув кафтан, он засучил рукава батистовой сорочки и, поплевав на ладони, нетерпеливо топнул ногой. Дворовые с криком разбежались, а Орлов, изогнувшись, рывком бросился на зверя, обхватил его за шею и начал душить. Медведь взревел так, что Баженов вздрогнул. Жилы на лбу Орлова взбухли, рот перекосялся, он был страшен в эту минуту. Скаля зубы, зверь поровил смазать лапой по русской голове обидчика, но тот, увёртываясь, всё напирал на медведя, отступавшего на задних лапах под хохот и свист дворни.

— Так его! Так! Дави, батюшка, дави! Охо-хо, попался Миша!..

Возбуждённый рёвом и криками дворни, Орлов повалил медведя на спину и, ловко отскочив в сторону, махнул окровавленной рукой. Шестеро дюжих молодцов накинули на барахтающегося медведя железную сеть и поволокли его со двора.

— Песенников! — крикнул Орлов.

Давешний камердинер подбежал к Орлову

и начал было докладывать, но тот, сморщившись, буркнул:

— Подождёт...

Баженов заметил, как стоявший рядом с ним Повиков передёрнул плечом.

— Пу, мне пора,— сказал он и, отойдя от окна, круто остановился перед Баженовым,— как живёшь-можешь?

Взор был пристален, голос сух.

— Болен, что ли?

Баженов вздохнул.

— Пустое. Здесь вот,— он указал на грудь,— червь. Но сие скрыто от взоров людских.

Повиков усмехнулся, медленно прошёлся по комнате.

— То-то, брат, все мы не в своей шкуре ходим. Как медведи, на задних лапах. Слышал я — дворец возводишь,— продолжал он помолчав, и вдруг, взглянув на помертвевшее лицо Баженова, смутился,— ну, не буду, не буду: знаю, брат, всё знаю, а ведь из пустого раздражения спросил, надоело в лакейских сидеть. Я ныне в Комиссии по уложению состою,— пояснил он, чтобы переменить тему,— о среднем роде людей записи веду. Затем из Петербурга прибыл. Вот к этому,— он махнул рукой в сторону окна.

— О среднем роде людей,— машинально повторил Баженов,— это кто ж такие?

Повиков пожал плечами.

— В некотором роде это мы с тобой. Да всё пустое,— вздохнул он,— замыслы императрицы величавы—выполнение оных бумаж-

ное. До законов ли теперь, когда Пугачёв на Москву движется...

— А в чём исход?— спросил Баженов, чувствуя, как вся кровь приливает к лицу. Так бывало с ним в юности, когда Повиков, уверенный в своём превосходстве, испытующе смотрел в глаза.

Помедлив, Повиков ответил:

— Утеснение — суть следствие беззакония, по законы без должного просвещения — одна форма. О ней старается комиссия. Ты спрашиваешь, в чём исход,— продолжал он тихим своим, ровным голосом,— содействуй разуму, неустанно смягчай нравы — вот славное поприще просвещённого человека в наш век. А засим прости, недосуг мне: в ложу еду...

Молча Баженов протянул руку. Задержав ладонь в своей, Повиков едва слышно добавил:

— Ежели решился,— введу к братьям.

Баженов покачал головой.

— Как знаешь, Василий Иванович, а только истинный свет у нас и к нам придёт.

Задумавшись, Баженов смотрел вслед товарищу. Высокий, в мешковатом кафтане, Повиков напоминал пастора. Из оттопыренного кармана высовывалась книга. «Какое-нибудь рассуждение о правилах», — улыбнулся Баженов. Много теперь развелось этих книжек. Баженову случалось их просматривать, но лень было доискиваться до смысла, масопство не интересовало его. Поиски цели жизни, богоскательство — всё это было в духе созерцательного Повикова. Дороги их разо-

шлись. Ещё с университетских лет Николай Пванович зачитывался отцами церкви, спутником Баженова был неизменный Витрувий.

Припоминая юношеские годы, Баженов с трудом мог представить себе Фонвизина, сидевшего с ним на одной скамье. Где он теперь! Говорят, выйдя из гвардии, поступил в иностранную коллегию, переводит басни Геллерта. Был ещё Потёмкин, здоровенный увалень, пьяница и дебошир. Учился он плохо, а в свободное время отсыпался где-нибудь под лавкой. После исключения из университета. Потёмкин хотел постричься в монахи, но поспорил с настоятелем Киево-Печерской лавры и вернулся в военную службу. Прочили в сержанты гвардии, а вот — не угодно ли: генерал-аншеф, любимец государыни, соперник Григория Орлова. Судьба! А разве его собственная судьба не была беспримерной! Только б осуществить проект, а там...

— Их светлость просит вас, — сказал лакей, с поклоном растворяя двери.

В кабинете, ярко освещённом люстрой, откинувшись на вольтеровом кресле, сидел князь Григорий. Рассматривая себя в зеркале, он недовольно морщился. В белом пудрмантеле, наброшенном на плечи, осунувшийся, без парика — Орлов казался постаревшим. Куафёр брил Орлова, едва касаясь пальцами лица, и почтительно приседал, как в менюэте.

— Знаю,— кивнул Орлов входившему Баженову,— наперёд знаю, с чем пожаловал.

И, приняв из рук Баженова прошение, сдвинул брови. Куафёр застыл с бритвою в руке, камердинер у дверей — ожидая приказаний. Баженов оглядывал кабинет. На штофных креслах были разбросаны баулы, английские чемоданы, на бюро Рёнтгена красного дерева — стоял графин с вином, недопитые бокалы. В комнате, убранной картинами, бронзой, фарфором, пахло лавандовой водой, жжёным волосом. Окна были раскрыты. Ветерок с Москва-реки колебал свечи в зеркалах. Их было так много, что Баженов, отражённый со всех сторон, не знал, куда скрыться от своих двойников.

— Сядь! Не мелькай,— раздражённо кинул Орлов.

Баженов сел.

Со двора грянул хор песенников:

Во горницы столовой, столовой
Во светлые пировой, пировой
Стоят столы дубовы, дубовы
На них ковры шелковы, шелковы...

Орлов поморщился:

— Опять этот сумасброд. Закрывать окна! Ещё свечей!

Камердинер прикрыл створки.

— Осмелюсь доложить, ваша светлость, свечей здесь, почитай, за полсотни будет.

— Дурак! Темно, говорят тебе,— и, вставая, Орлов протянул бумагу Баженову.

— Ничего не могу. Ступай, братец, к Потёмкину,— он криво усмехнулся.— ты, кажет-

ся, с ним служил али учился. Ну вот. А я не могу. Потерял шаг. Свечей! — топнул он ногой, и камердинер рысдой выбежал из кабинета.

Скрестив руки на груди, Баженов угрюмо следил за Орловым.

— Отставлен! — выкрикивал он. — Финиталья комедиа! Кто возвёл на трон? Григорий. Кто от чумы спас? Я. Кто турок осилил? Брат. Всё Орловы, везде Орловы, всегда Орловы! А ныне, в годину испытанья, кто противу супостата есмь? Кто — я спрашиваю? — и, подбежав к секретеру, Орлов начал открывать ящички, выбрасывая оттуда грамоты, дарственные записи, топча их в ярости ногами.

Мертвенно бледный, с перекосившимся лицом, он весь подёргивался, как на шарнирах, бормотал про себя французские ругательства, судорожно разводил руками, смеялся отрывисто, а со двора всё громче, пронзительнее, с присвистом, неслась песня:

Прими чару от меня, от меня,
Выпей чару всю до дна, всю до дна...

Взбешённый Орлов бросился к окну, стукнул кулаком по раме. Стекло разлетелось. И вдруг обернувшись, взлохмаченный, Орлов дико уставился на куафёра.

— Стой! Кто таков? Пароль!..

Парикмахер съёжился, задрожал, колени его подогнулись, рукой он шарил на ковре обронённую бритву. А Орлов, запахивая на груди халат и пяясь от парикмахера, схватил со стола зажжённый канделябр, поднял его над головой.

— Отвечай! А не то...

Баженев бросился между ними.

— Пусти,— задыхался, бормотал Орлов,— он меня убить хотел! Я знаю. Подослан. Зарезать! Потёмкиным...

— Ваша светлость, помилосердствуйте, я — Жорж, парижских дел мастер...

— Во-он! — закричал Орлов, размахивая канделябром, и с грохотом бросил его об пол.

Куафёр выбежал, а Орлов, тяжело дыша, всё силился заткнуть на горле халат, неподвижно смотрел на Баженова, затаптывающего на ковре свечи. Губы его тряслись, он покусывал сгибы пальцев, тряс головою, бормоча, как в ознобе:

— Сей же час к матушке. Пусть узнает. Я ей всю правду... всю правду. Звони!

Баженев, не веря себе, схватился за колокольчик.

Вбежавшие камердинер и лакей застыли на пороге.

— Мундир! Карету закладывать! — и, рухнув в кресло, Орлов схватился за голову.

— Бритвой, — повторял он, вздрагивая и раскачиваясь в тоске, — как того... государя... Петра Фёдоровича...

Дверь распахнулась, и в кабинет грузно вошёл Алексей Орлов.

Григорий вскочил.

— Ты? Чего тебе здесь? Уходи!..

Алексей Григорьевич смотрел на брата исподлобья, словно примериваясь, как давеча, в борьбе с медведем. Ворот рубахи был растёгнут, грудь часто вздымалась.

— В Петербург тебе нельзя, Гриша,— сказал он тихо.

Григорий сиделся что-то ответить, но под пристальным взглядом брата медленно отступал к стене, озираясь и повторяя: «Алехан, оставь, слышишь, Алехан,— не тронь...»

Раздвинув ноги в спустившихся чулках и упершись кулаками в бока, Алексей продолжал говорить спокойно, глухим голосом:

— Тебе в Спа велено ехать, водою лечиться...

— А ты в Петербург?

— А я в Петербург,— усмехнулся Алексей,— к матушке...

— Убивец! — крикнул Григорий, срывая со стены шпагу.

Шея и шрам на лице Алексея Орлова побагровели, он был хмельён, слегка пошатывался. Оперся было на горку с хрусталём, горка покачнулась, он оттолкнул её, и она со звоном рухнула на пол. «Верёвок! — командовал Алексей лакеям,— вязать его!» — оглянувшись по сторонам, увидел Баженова, нахмурился.

— Уйди,— сказал он тихо.

Баженов взял со стола своё прошение и вышел.

Дверь захлопнулась.

С минуту Баженов стоял неподвижно. И вздрогнул, заслышав отчаянный вопль Григория.

Раздался глухой шум падения, и всё смолкло.

Пот катился со лба Баженова, и он никак не мог найти платка, утирался ладонью. По-

медлив немного, нажал на ручку двери. Войти? Было тихо. Он прислушался: шелест листвою сад.

Баженов в раздумье спустился ещё на одну ступеньку и быстро сбежал вниз.

Обернулся, весь дрожа: огни в окнах погасли.

У подъездных ворот, где, положив головы на лапы, дремали каменные львы,—дрожек не было. Впрочем, Баженов забыл о них. Всё рухнуло. Орлов сошёл с ума. Давно шептались об этом, один он не верил. Кто теперь защитит его? Что будет с дворцом? Ехать в Петербург? «Ваше величество,— бормотал Баженов, распахивая на груди кафтан,— вот моё сердце, возьмите его, всю жизнь...» Он шатался, мысли его путались.

Вдоль Калужской площади сонно мигали фонари. Воздух был тих и так же предгрозно неподвижен. Куда идти? Домой? А где он теперь, дом-то? Как взглянуть в глаза жене, Казакову? Пет, в Кремль он возвращаться не мог. «Выпей чару всю до дна, всю до дна»,— билось в голове.

Баженов опустился на тумбу, вынул платок. Из кармана выпала бумага. Его прошение. Баженов поднял бумагу, чтобы разорвать её, но это оказалось не прошение, очевидно, впоыхах он схватил с бюро чьё-то письмо.

Подойдя к фонарю, Баженов развернул смятый листок и с удивлением узнал каракули Алексея Орлова.

Бумага была старая, чернила выцветшие. Не замечая конопляного масла, капающего

из фонаря ему на плечи, на голову, Баженов читал, едва шевеля губами:

«Милосердный братец Григорий! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не пове-ришь верному своему Алёшке, но как перед богом скажу истину: нет более в живых императора Петра Фёдоровича. Погибли мы, когда ты не заступишься перед всемилости-вейшей государыней, а ей пишу тако. «Ма-тушка,—его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Фёдором Ба-рятинским; не успели мы разнять, а его и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Поми-луй меня, хотя для брата. Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего...»

26

Работы в Кремле были приостановлены, но фундаментов дворца не ломали. Об этом ак-курратно, два раза в день докладывал Казаков. Баженов молча выслушивал его и отпускал кивком головы.

Из окна, приподняв штору, он видел, как Матвей Фёдорович садился в карету. И опять принимался ходить из угла в угол. Никому нельзя было верить. Казаков строил в Крем-ле новое здание сената. Несмотря на между-усобицу, деньги для него нашлись.

А время было тревожное.

Разгромив Казань, Пугачёв перешёл Волгу.

О сожжении Казани Баженов узнал от Повикова, захавшего поделиться новостями.

— Москва под угрозой,— объявил он входя.

Обычно спокойный, Повиков был особенно возбуждён в этот день. Бросив шляпу на стол, он продолжал шагать по комнате, кисейное его жабо трепетало, как крылья бабочки.

— Ты рад?— спросил Баженов, откладывая в сторону чертежи.

Повиков остановился, удивлённо приподнял брови.

— Рад? Помилосердствуй, что ты говоришь? При всём моём свободолюбию я — прирождённый дворянин. Вот полюбуясь, что пишет мне староста: мужики сожгли хлеб рядом с моим сельцом Авдотьиным. А ведь это под самой Москвой. Разор, всеконечный разор!..

Он рухнул в кресло, вынул платок.

— Бедствия неисчислимые, — раздумчиво продолжал Повиков,— но ты прав в одном: не могу скрыть удовольствия при виде правительста нашего, совершенно потерявшего голову. Представь: императрицу уговаривали бежать в Ригу.

Баженов усмехнулся.

— Сие есть плоды беззакония, поистине страшная жатва,— повторял Повиков, сокрушённо качая головой,— впрочем, здесь говорили мне, что мятежник повернул к Саранску, может, и обойдётся...

— А если нет,— громко сказал Баженов, и Повиков невольно вздрогнул, с недоумением глядя в загоревшиеся глаза друга,—

тогда что? Ах, один бы конец,—с тоской закончил Баженов, закрывая лицо руками.

Новиков стоял над ним изумлённый, покусывая тонкие губы. Он раздумывал: мог ли этот человек стать полезным для их дела?

И в нерешительности прошёлся по комнате.

Тогда, у Орловых, Новиков не открыл Баженову всей правды. Он действительно вёл записи в Комиссии по составлению нового уложения. Работы комиссии, столь пышно начатые в Москве, перенесены были в Петербург, а с открывшейся турецкой кампанией — и вовсе прекратились. Другие интересы влекли Новикова в Москву, а не одна только забота об изданиях сатирических журналов, о коих Екатерина выразилась, что они злы, и прихлопнула их. Были дела поважнее, но открывать их непосвящённому он не осмеливался.

Теперь сроки исполнились.

Положив руку на плечо друга, Новиков говорил ровным своим голосом о жалкой судьбе людей, блуждающих во мраке, об истинном свете масонства, которое одно лишь способно привести человечество к совершенной правде на земле...

— Довольно! — перебил, вскакивая, Баженов, — всё это ложь, словеса одни!

Задыхаясь, с кровью налившимися глазами, он был страшен в эту минуту.

— Там правда! — кричал он, ударяя кулаком по столу. — Одна она, мужицкая! И двум не бывать! У твоего соседа хлеб пожгли — беда какая! А про Салтычиху, что живьём мужиков в землю зарывала, — слы-

хивал? Про помещичьих детей, что в шарабан девок запрягают и катаются на них, да ещё в кормушки пряников сыпят вместо овса! А рекрутчина, а поборы? Долготерпив народ русский, но и он не выдержал, гонит дарские полки, дворян жжёт, вашего брата, белоручек...

Новиков стоял, опустив голову, и только плечи его вздрагивали, как от ударов.

— Но ведь и ты, друг любезный, дворянин.

— Я,— Баженов усмехнулся,— я, брат, таковой же дворянин, как ты — китайский богдыхан. От одних отстал, к другим не пристал.

Он сел и продолжал уже спокойнее:

— Почему ей удалось, а Пугачёву нельзя? Отвечай!

— Кому ей? — испуганно, почти шопотом спросил Новиков.

— Императрице всяя Руси. Удалось же Екатерине задушить мужа, сесть на престол. Орловы душили, Панины скамеечку подставляли.

Новиков быстро глянул по сторонам.

— А я так думаю, что всё это слухи...

— Слухи! — рассмеялся Баженов и, вскочив, бросился к бюро, стоявшему в углу.— Слухи,— повторял он, как в лихорадке, дрожащими руками вертя ключ. Новиков испуганно смотрел на него, не зная, что сказать.

— Па, читай! — сказал Баженов, протягивая Новикову письмо Алексея Орлова, и, бросившись в кресло, в изнеможенье откинулся назад. Голова его дёргалась, у виска стучала жилка, и всё, казалось, плыло вокруг:

темнеющие верхушки берёз, окно, у которого с письмом в руках, окаменев, стоял Повиков. И было такое чувство, что если сразу встать, свалится с плеч невидимая тяжесть.

По встать не мог, не мог пошевелиться, сидел недвижимо, до боли закусив губу.

27

Он стал молчалив, задумчив. Лаская детей, подолгу вглядывался в черты лица старшего сына, Костеньки, спрашивал его и вдруг, не дослушав, уходил к себе в кабинет.

Тогда всё в доме замирало. Лёжа на постели, Баженов, словно сквозь сон, различал голоса детей, тревожный шопот Груни. О чём она думает, проходя на дыпочках мимо кабинета. И слышав шелест её платья, глубже зарывался в подушки.

Прошло два года со дня отъезда Каржавина, не сказано с женой ни единого слова об исчезнувшем друге, не было от него больше писем, а Баженов не забыл их разрыва, не мог осилить себя...

Когда наступал вечер, входила со свечой Груня. Он закрывал глаза. Постояв, жена молча уходила. В кабинете с окнами, задёрнутыми шторами, было тихо. По набережной ехали и ехали возы. Спасаясь от приближения Пугачёва, дворяне покидали Москву.

Понемногу скрип колёс замолк. Время остановилось.

..Он помнил морозное утро, заснеженное поле Болотной площади, мужичонку в

нагольном тулупе, стоявшего на деревянном помосте. Чернобродый мужичонка насмешливо шурился, оглядывая бар с лентами и звёздами поверх шуб, зелёные треуголки преображенцев, оцепивших Болото. Размахивая руками, он что-то кричал, но слов не было слышно, трещали барабаны...

О поимке Пугачёва Баженов узнал в день своего посвящения в масоны. Поздно вечером Новиков привёз Баженова в незнакомый ему дом на Мясницкой.

Здесь заседала ложа звезды Сириус.

Пройдя вестибюль, едва освещённый фонарём, они очутились у железной двери. Облачившись в чёрный таблиер, Новиков скрылся. Баженов постучал молотком. Треугольное окошечко в двери распахнулось,— брат, одетый, как Новиков, в шёлковый балахон, увидел в темноте «ищущего света» Баженова, взял его за руку и повёл с завязанными глазами по коридору.

Дорогой их останавливали.

На все вопросы Баженов, наученный Новиковым, отвечал твёрдо:

— Да, я жажду света... Ищу истины...

С него сняли повязку, и он увидел себя в сводчатой комнате с жертвенником, на котором трепетало пламя. Вдоль стен, затянутых чёрным бархатом с вышитыми золотом шестиконечными звёздами, стояли в таблиерах братья, держа в руках зажжённые свечи. Баженов услышал голос мастера стула, неподвижно восседающего на востоке:

— Отречёшься от матери, отца, жены и близких...

Да, он готов. Он уже отрёкся, давно исторг их из сердца и, когда к груди его протянулись острия шпага, Баженов смело рванулся вперёд. Одна шпага кольнула, прочие — опустились, — он выдержал испытанье, как тот легендарный Адонирам, первый строитель Соломонова храма, прообраз всех зодчих.

В знак пренебрежения к дарам земным, Баженов опустил в оскаленные зубы черепа золотой и три гривны серебром. Мастер ступил сошёл с возвышения, обнял и поделовал Баженова в лоб. Это был Новиков. Баженов узнал его по ободряющему пожатью руки.

Посвящение окончилось.

Отныне Баженов вошёл в семью франкмасонов и, отбросив помышления о земном, мог строить храм духа своего. Свечи в руках погасли, братья, шелестя табличками, расселись по лавкам. Может быть, эти люди, которых он не знал, вернут ему веру в добро и справедливость? Разлад с собою и тоска одиночества были нестерпимы. С надеждой вглядывался Баженов в склонённые фигуры братьев, и, словно испытывая, на него устремлялись взоры, сверкавшие сквозь прорези капюшонов.

Стоя перед жертвенником, брат читал по книге:

— «Как некий микрокосм, сиречь — малый мир, в любое десятилетие рождаются связанные своими судьбами люди. И будут их линии пересекаться, взаимно уничтожаясь или помогая друг другу расти...»

Мысленно Баженов видел эти линии взлёта и падений. Полузабытые друзья юности: Потёмкин, лукавый Фонвизин, незримо охра-

няющий его Повиков, каждый шёл в жизни своим путём.

Дороги их скрещивались и расходились.

О Каржавине Баженов старался не думать. А не мог. Сам собой возникал образ друга, насмешливый, осуждающий...

Но теперь он верил Повикову.

Исстрадавшаяся душа жаждала покоя, неподвижности, созерцания. Всё это он думал найти в масонстве, где люди, отвергнув суету и тщеславие, служат друг другу, сообща ищут истину...

В конце заседания явился запоздавший брат. Пошептавшись с соседями, он встал с лавки, громко произнёс:

— Братья Власов и Крестовоздвиженский, оставьте ложу!

Два человека, молча поклонившись мастеру стула, вышли. Тогда новоприбывший откинул с лица кашюшон, и Баженов увидел румяное лицо генерала Измайлова.

Пот струился по его щекам.

— Братия, — задыхаясь от волнения, говорил Измайлов, — благую весть несусь вам, яко голубь Пою, очистилась земля русская, злодей Пугачёв пойман, предан сообщниками!..

Повиков ударил молотком по столу, давая знать, что заседание ложи продолжается, но никто его не слушал. Все повскакали со своих мест, сбросили с лиц кашюшоны. В людях, тесным кольцом обступивших Измайлова, Баженов узнавал именитых дворян Москвы, чьи кареты с гербами он мельком видел у подъезда.

Слышались радостные восклицанья, обнимая друг друга, братья христосовались.

Под распахнувшимися таблиерами поблёскивало золото орденов, бриллиантовые пуговицы кафтанов.

Пикем не замеченный, Баженов вышел из хранины.

Рухнула последняя надежда.

Бросив на ларь свой таблиер, он стал спускаться вниз. На лестнице его нагнал запыхавшийся Повиков:

— Василий Иванович, ты куда!..

Не глядя на Повикова, Баженов ответил тихо, едва сдерживая готовый прорваться гнев:

— Ты обещал мне свет истины, а вверх в пучину мерзостной суеты.

Повиков опустил голову, а Баженов продолжал допрашивающим тоном:

— Кто они, Власов и Крестовоздвиженский! Крепостные!

Уже овладевая собой, Повиков проговорил:

— Ты сам знаешь, что крепостные не могут быть братьями. По ты прав,— добавил он смущённо,— эти люди не дворянского звания, кутейники.

Баженов усмехнулся.

— А я кто?

Всё более и более горячась, Повиков говорил:

— Не нам, Василий Иванович, судить о сословиях. Для сего надо иметь голубую Иоаннову степень, я же скромный мастер стула, а ты ещё неофит¹, бродишь в темноте,— и взяв его за руку, испытующе за-

¹ Вновь посвящённый новичок.

глянул в глаза,— ты не веришь мне, Василий Иванович?..

Они стояли на площадке, освещённой люстрой. Глядя вниз, в шевелящуюся пропасть лестницы, Баженов ответил:

— Пичему я не верю...

— Напрасно! Только мы, запомни это — можем вернуть тебе славу и значение,— голос Повикова звучал пророчески, глаза сверкали, и в них переливалось пламя свечей. Он был неузнаваем в эту минуту в своём табиере, перекинутом через плечо, как мантия, с бледным, обострившимся лицом, на котором рдели два лихорадочных пятна.

— Нас много, и мы сильны,— шептал Повиков, опаяя своим разгорячённым дыханием медленно отступавшего Баженова,— ибо с нами персона и мы её ведём на трон...

— Какая персона?— вздрогнув, спросил Баженов.

Ему казалось, что он впервые видит настоящего Повикова.

Тот скрестил руки на груди, выше закинул голову. Голос был тих, но торжествен:

С тобой да воцарятся
Блаженство, правда, мир,
Без страха да явятся
Пред троном нищ и спр,
Украшенный вендом,
Ты будешь им отдом!..

— Павел!— вырвалось у Баженова.

— Тсс...— Повиков зажал ему рот ладонью,— до срока! Ты был близок персоне, она печётся о тебе, ты нужен нам...

Возбужденье Новикова передалось Баженову. Перед глазами мелькнула на мгновение страдальческая полуулыбка цесаревича Павла...

Припомнились их встречи, беседы, постройка Каменноостровского дворца...

А теперь, достигнув совершеннолетия, Павел является законным претендентом на престол, захваченный матерью...

Уже не колеблясь, Баженов крепко стиснул руку Новикова.

Выйдя на улицу, он распахнул кафтан. Было тихо и пустынно. Вдалеке постукивала колотушка. Погружённая во мрак, спала Москва. В осеннем небе переливались звёзды. Сегодня одна из них, пылавшая кровавым факелом, сорвалась и, зашипев, погасла в пучине Волги. Ярче вспыхнула другая, ещё никому неведомая, — звезда Павла.

Долго стоял Баженов на крыльце, отыскивая среди синих огоньков свою путеводную звезду. Мешали проплывавшие облака. Звезда трепетала, готовая исчезнуть, и вновь появлялась.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

28

Последние дни он спал три часа в сутки, но был свеж, как в юности. Часто, сживая за чертежами, прислушиваясь к щебету птиц, он переносился под небо Италии. Город замер: тишина и покой. Неслышно скользит гондола. Дремлют отражённые в канале дворцы, гранёный фонарь на корме серебрит зелёную, мутную воду. Молчание прорезает сверчковый ропот мандолины,— ближе, звучнее, и серенада, страстная, как соловьиная трель, льётся с балкопчика на спящую Венецию.

О чём только не вспомнишь, черты и рассчитывая.

Иногда он насвистывал, но чаще работал молча, чуть шевеля губами. Не хотел думать о Кремле, и не мог не думать. Швырнув ли-

нейку, Баженов принимался ходить по аллее коротким, отрывистым шагом.

Останавливаясь, хмурил брови.

«Разве не было расчёта? Был. Обвал почвы? Вздор! Укрепить балками, отвести размывающие воды. Расчёт был точен, мало того: проверен по модели. Закрыв глаза, он видел свой дворец, анфиладу колонн, лестницу, мраморным потоком сбегающую к Москва-реке. Такую же, на манер капитолийской лестницы он проектировал в Риме, за что итальянцы прозвали двадцатисемилетнего Баженова — северным гением...

Но то было в Риме, Париже, где дождём сыпались дипломы, заказы, — здесь, на родине, при дворе и в академии он был каменных дел мастер, не более. И весь парад с закладкой Кремля, с речами и фанфарами — только предлог показать Европе, как велика казна империи российской, способной вести войну с турками и одновременно строить новый Акрополь, стоимостью в пятьдесят миллионов рублей...

А обещания императрицы — громкие слова из пьесы, где он, обманутый, сыграл выходящую роль. Баженов понял это тотчас же после срытия возведённых им стен, прекращения работ и выплаты денег. Мир с Турцией, Кучук-Кайнарджийский мир был заключён, комедия окончена, и он остался наедине с моделью, над которой работал пять лет.

Баженов сел, провёл рукой по лбу. «Сорок семь годов. Старость? Нет ещё, но как пусто вокруг, шелестят липы Царицынского сада, сладостный сон навевает листва: отдох-

ни. А дела? Где они, дела-то?— Баженов в ярости топнул ногой:— К чёрту!»

И опять взялся за линейку.

— Линию а,— сказал он,— проведём по фасаду, до пересечения...

Множество липий провёл он резким, глубоким нажимом. И планы, десятки, сотни планов, один замысловатее другого слетали со стола: дворцы, усадьбы, церкви. Всё не удовлетворяло. Тогда он принимался рисовать в альбоме виньетки, античные вазы, какой-нибудь орнамент, только бы не думать...

Линия жизни была точна, а в зените дней ощущал он надлом. Изменяла рука. Уже без циркуля не решался чертить, по шесть, по семь раз сверял расчёты, стал сомневаться в себе.

Началось это с Кремля.

И вот теперь, когда уже не верил в работу, императрица предложила возвести усадебный дворец. Выслушав, он усмехнулся. Ничего не ответил, ждал почтительно, но равнодушно. Повелевайте. Он готов. Дворец так дворец. А где?

Ему указали: Чёрная грязь, неподалеку от Коломенского. Чёрную грязь он знал преточно: живописнейшее село на берегу речки. Здесь, посреди запущенного парка, стоял шестикомнатный деревянный дом с двускагной крышей, проходными галлерейми и китайскими башенками. Это была усадьба Кантемиров. Екатерина приобрела её у наследника, графа Сергея, и поселилась в ней с Потёмкиным.

Была пора их нежной дружбы.

Сельские пасторали, разыгрываемые крепостными на лужайках Черногорья, досчатые, наспех сколоченные беседки не удовлетворяли Екатерину. Ей грезился подмосковный Версаль, но, в отличие от Царского села, в мавритано-готическом стиле.

Всё это она высказала «своему архитектору» на празднестве по случаю Кучук-Кайнарджийского мира. Упоённая успехами, о Баженове она вспомнила среди грома литавров и орудийных салютов, сидя в своей палатке, украшенной флагами, щитами и турецкими знамёнами.

С высоты помоста, где стояло её кресло, императрица самодовольно оглядывала Ходынское поле с фонтанами, бьющими красным и белым вином, тушами жареных быков, блестящих позлащёнными рогами, с затейливыми крепостями и минаретами. Спросила: кто строил.

— Баженов, ваше величество.

В сопровождении блистательного Потёмкина, имея по правую руку героя турецких побед — графа Румянцева, императрица шествовала по полю, приветствуемая господами дворянами. Гремели трубы, хор звонко пел:

Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать...

Справлялось двойное торжество: разгром Пугачёва и турецкое замирение. Турки нападали не раз, но то были иноземные враги и где-то очень далеко, а Пугачёв был здесь, под боком. И ещё неизвестно, чем бы всё кончилось.

«Маркиз де Пугачёфф,— писала Екатерина в Париж,— бит то ли восемь, то ли девять раз, так что и бить его надоело, всё это глупые казацкие истории». Торжествовать победу над Пугачёвым было неудобно, а посему праздновали Кучук-Кайнарджийский мир.

Апофеозом праздника была карта Крымского полуострова, расчерченная на Ходынском поле. Две дороги из Москвы, по которым тянулись придворные кареты, представляли собой реки Днепр и Дон. По берегам Дона расположились карусели и балаганы, где балансиры ходили по канату. Посреди дуга, изображавшего Чёрное море, были расставлены в боевом порядке отечественные корабли и турецкие фелуки. Минареты, башни, крепости — олицетворяли завоеванные города. Сооружения императрице понравились.

— Отменно,— сказала она,— а делал кто?

— Баженов, ваше величество.

Екатерина закусил губу. Ей не хотелось слышать это имя, произносимое с почтением. Архитектор, осмелившийся жаловаться цесаревичу на препятствия, чинимые ему при перестройке Кремля, был ненавистен Екатерине. Но она желала слыть великодушной.

— Позовите его.

Гоффурыеры бросились искать Баженова.

— Вам угодно его видеть,— обеспокоенно спросил Потёмкин,— пренесноснейшая личность, имел нещастие учиться с ним вместе в университете московском.

Екатерина улыбнулась. Ей было известно, чем кончилось образование любезного друга.

Пожав плечами, она сказала:

— Но талант. Не есть ли это правда?

Потёмкин притворно вздохнул.

— Не мне судить, матушка, а только вольнодумец он большой...

— И масон,— закончила Екатерина, поджимая губы.

Они стояли в круглой Азовской каланче у входа, охраняемого снаружи и внутри кавалергардами в золочёных кирасах, с белыми страусовыми перьями на серебряных шипаках. Ревниво поглядывала императрица на сына. При мысли о молчаливой встрече, устроенной ей при проезде, и восторженных криках по адресу Павла Петровича бросало в жар. «А вот Гришеньке всё равно...»

Потёмкин рассеянно чистил щёткой бриллианты. Барски выхоленное лицо его с надменно выпяченной губой было непроницаемо холодно. Растопыривая пальцы, он то приближал, то отстранял от себя перстни, любясь их блеском.

Толпа царедворцев раздвинулась, показался Баженов. Он был бледен, но держался спокойно.

Екатерина протянула ему для поделуя руку.

— Мне говорят, знаете, как в сказке Перро,— чей это павильон? Маркиза Карабаса. Чья крепость? Маркиза Карабаса, то бишь Баженова, и признаться, мы довольны...

Архитектор поклонился.

— Это только лукавство kota в сапогах,— почтительно, в тон, но косясь на Потёмкина, ответил Баженов,— павильоны суть маш-

керадная забава, в то время как Кремль московский был бы истинною славой вашего величества.

Екатерина сдвинула брови, но тотчас же, овладев собой, обворожительно улыбнулась.

— Архитектура — дьявольская штука, господин Баженов, — чем больше строишь, тем больше хочется.

Высказав мысль о желаньи как можно скорее увидеть план Черногрязского дворца, императрица отбыла, а Баженова отгёрли, но, уходя, он успел заметить, как недобрым огоньком блеснул единственный глаз однокашника его университетских лет, генерал-аншефа Потёмкина.

И невольно вздрогнул, разглядев в толпе цесаревича.

Демонстративно повернувшись спиной к проходившему Потёмкину, Павел сделал архитектору знак приблизиться. Сердце Баженова забилось. Неужели это был тот самый мальчик, единственная его надежда, с которым он вёл задушевные беседы о чужих краях?

Павел замер в горделивой позе, положив ладонь на эфес шпаги, бледный, с полуулыбкой на тонких, бескровных губах.

— Господин Баженов, — произнёс он глухо, с хрипотцой в голосе, — не могу скрыть восхищения при виде столь великолепного мастерства вашего.

И, не дожидаясь ответа, взял Баженова под руку.

В группе фрейлин стояла супруга Павла, Наталья Алексеевна, молоденькая принцесса Гессен-Дармштадская, с высокой причёской,

увитой жемчугами. Раскрывая и закрывая веер, она разговаривала с графом Разумовским.

— Сударыня,— громко сказал Павел, подводя Баженова к жене,— позвольте вам представить величайшего архитектора России.

— Ваше высочество слишком милостивы,— краснея, пробормотал Баженов.

Павел вскинул голову.

— Я только отдаю должное,— отчеканил он, дёрнув плечом,— другие не делают и этого. Тем хуже...

И, остановив мутный свой, не мигающий взгляд на Баженове, повторил:

— Тем хуже...

Паталья Алексеевна взяла цесаревича под руку, и они тронулись. Проходя мимо склонившегося Баженова, Павел сказал, ласково улыбаясь:

— Помните: я ваш друг.

Слова были произнесены тихо, вполголоса, но двое придворных, идущих следом,— услышали, молча переглянулись.

«Это мне не пройдёт»,— вздохнул Баженов.

Однако — сошло. Екатерине было не до Баженова. И вовсе не думал о нём Потёмкин. Поглощённый делами юга, он писал Екатерине, что «Крым — это бородавка на носу России, с которой пора покончить». В 1783 году, после затянувшихся переговоров с последним крымским ханом, Шагин-Гиреем,

Крым был присоединён к России, за что Потёмкин получил титул светлейшего князя Таврического. И опять гремели трубы, взвивались потешные огни, но всё это происходило далеко, и до Чёрной грязи, переименованной в Царицыно, где в уединенье работал Баженов, долетало слабым эхом.

План был утверждён, материалы подвезены, и стройка началась. Шла она медленно: стал осторожен Баженов. Зимой, когда работы замирали, он приезжал посмотреть, как лепится снег по орнаменту узорных ворот. Эти ворота он почитал своей гордостью и начал их раньше двора. Недоверчиво поглядывая Баженов на выроставшее здание и вдруг, приостанавливая кладку кирпича, уходил с планом к себе в мастерскую.

Проверив чертежи, опускался на койку, лежал неподвижно, думал. Из сотни планов нужен был единственный, совершенный. Его он искал, припоминая и отбрасывая всё, что видел или строил. Единственный! Как это разуместь? Тот, что приходит в конце исканий. А где предел? Он закрывал глаза: мысли, образы, лёгкие и стройные, проплывали, как облака.

Потом вставал, шёл ко двору. Испытующе осматривал своё творенье. Советовался с Казаковым. Верный друг был смущён немного.

— Всё по прожектору, Василь Иванович, не изволь сумлеваться.

Баженов смотрел на него пристально, не мигая.

— А прожект — закон? Прожект — это мы

с тобой,— и, вздыхая, говорил,— ладно, кончайте...

Сгорбленный, боясь обернуться и увидеть свой дворец, поспешно уходил Баженов по Утренней дорожке к пруду. Здесь он садился на скамью, следил за вьющимися стрекозами. Но и сюда прибегали за распоряжениями. Не было тишины.

А в тишине рождались замыслы.

Он шёл дальше, заложив руки за спину, строгий в своём тёмном кафтане, белых чулках и пыльных, сбитых туфлях. Не только пудрить голову, но и вязать косу, причёсываться было некогда, и так, с растрепавшимися волосами, чуть тронутыми сединой, сосредоточенный и угрюмый, шёл он тихими, неслышными шагами.

Был июль. Солнце сквозило между лиц, ложась на песок косыми, сочными мазками. Недавно прошёл дождь, в аллее было прохладно, пахло свежестью. Задиристо перекликались воробьи.

На пристани Баженов заметил сторожа. Вокруг него стояли корзины, наполненные чем-то белым. Баженов прищурился,— стало ослабевать зрение, и, не рассмотрев, вошёл на пристань.

Завидев архитектора, сторож снял шапку, молча поклонился.

— Здорово, старина. Чего здесь делаешь?

— Да вот птицу спущаю...

Тут только разглядел Баженов лебедей. Старик осторожно вынимал их из корзинок. Птицы билась, яростно вертели головами, порвя клюнуть обидчика, но стоило им кос-

нуться воды, как, величаво выгнув шею, они ухливали одна за другой.

— Молчат?— удивился Баженов.

Сторож пососал укушенный палец.

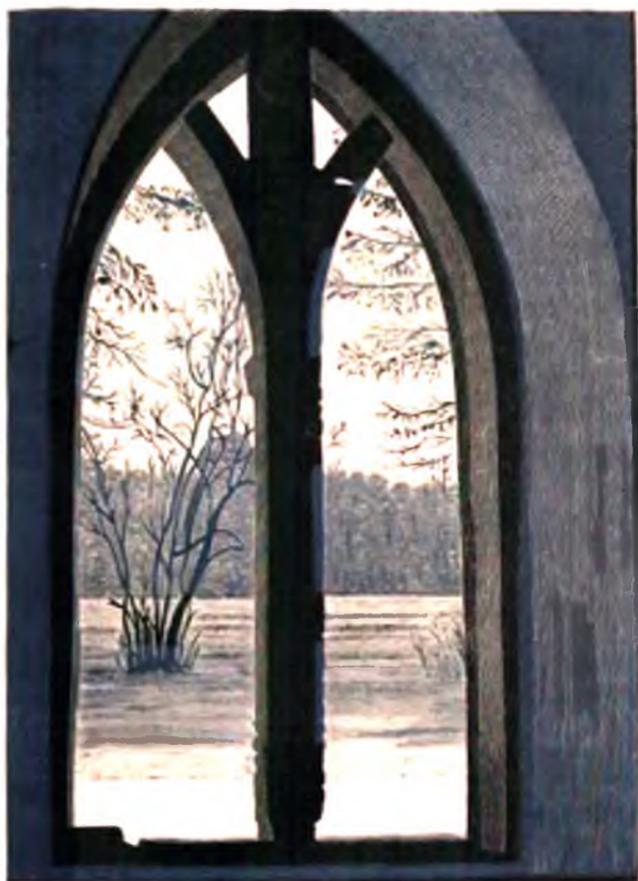
— Лыбедь завсегда молчит, а ежели запоёт — значит помирает...

Опираясь на дерево, Баженов наблюдал за лебедями. Сперва, робея, держались они стайками, но, почувя приволье, успокоенные, стали разбиваться парами. Было тихо. В настроённой тишине летнего полдня, из-за отяжелевших, склонившихся к воде ив, Баженову рисовалось чистое Версальское озеро. Лебеди там были чёрные, как агат, но, возможно, были и белые, он не помнил теперь, забыл...

Постояв, Баженов тронулся дальше. На душе было смутно, и ничто не веселило глаз: ни таинственные гроты, ни мостики, повисшие над обрывами. Всё здесь напоминало средневековую легенду. Для этого сооружались искусственные руины. Своей запущенностью парк должен был говорить о давно прошедших временах.

Презрительно улыбаясь, Баженов повторял про себя слова Потёмкина: «Мавритано-готический штиль». Не было такого стиля. Дворец в Альгамбре, готика — являлись только элементами в его работе над Царицыным, а главное, к чему он стремился, всегда было подражание древним монастырям, непревзойдённой красоте Поводевичьего, спокойствию и величавости Донского. Сии памятники старины почитал он русской готикой.

Таким был заканчивающийся Царицынский дворец.



Царцэно

В усложнённом орнаменте стен и восьмигранных крепостных башнях дворца с его стрельчатыми арками — проступали мотивы древнерусского зодчества. И всё же смешением стилей дворец не удовлетворял его, но то была воля императрицы, и он покорился. Что же делать: он строил для неё, но и цари не вечны, а дело жизни его, закреплённое в камне, переживёт и мастера и Екатерину. Да полно,— для неё ли одной воздвигал он здания одно великолепнее другого? Нет, он создавал проекты, не спал ночей, мучился и радовался, он жил и творил для любезной сердцу отчизны, для той страны, где он родился, вырос, учился,— для народа русского.

Пезаметно он добрёл до Золотого снопа. Это было любимое творенье Баженова. Восьмиколонная античная беседка. Посреди, на цоколе высилась мраморная статуя богини Цереры. На полуовальном куполе, под лучами солнца горел вызолоченный сноп ржи.

Беседка была отделана, побелена и среди зелени являла гармоничную цельность: так строго были рассчитаны её пропорции. Ко дворцу, к тяжёлым его формам русской готики — беседка никак не шла, но стояла она далеко от него, на краю усадьбы.

Внизу, в цветущей луговине мужики убрали сено.

Слепыми глазами богиня равнодушно взирала на деревенскую страду. Ей, рождённой у голубого моря, были чужды берёзы, окружавшие беседку, здесь она была одинока, как одинок и непонятен был её творец, переносивший на родную почву образцы классициз-

ма. Греческие храмики, поддерживаемые воздушными колоннами, античная строгость линий, смягчённая французским голубоватым пейзажем,— всё это встречал Баженов в садах Версаля и Трианона, где он по-юношески увлекался подобными сооружениями.

Но если вспомнить, что Цереру, мать плодородия, создали древние, то разве не прав он, поместив её сюда, на край усадьбы, где кончалась услада праздных и начинается труд землепашца. Давнишняя, глубокая мечта: соединить труд народа с искусством... Он усмехнулся: «Робкая попытка, да и позволят ли ещё, не осудят ли за вольность?»

Согнувшись, сидел он, уронив голову на руки. Так вот всегда: окончен труд, и не знаешь, нужен ли он?.. А если даже удача, редкая гостья в жизни, то всё равно — вставать и уходить и снова искать, снова мучиться...

Шмель сел ему на лоб. Баженов взмахнул платком, вытер потные щёки, осмотрелся. Вокруг него был мир простой и ясный. Муравей тащил соломинку, затихая, дробью рассыпались птицы, трепетала на солнце листва. День был прожитан жизнью, а он не видел её, некогда было. Всё осталось там, в юности: расцвело — отцвело и — забыто... А ведь так же, с пенья птиц, начинался день юности, был долог день, сулил бесконечный праздник. Пригоршнями, не считая, тратил он месяцы, годы и — неисчерпаемым казалось богатство...

Сейчас дни проскакивали быстро, незаметно сливались с ночами, переходили в туман-

ные, росистые утра, когда уже, заработавшись, не понимаешь рассвета, не чувствуешь себя от усталости. Всё чаще сжималось сердце, охватывала дурнота, и мир прерывал свой бег на секунду-другую. Встревоженный, Баженов ложился навзничь, напряжённо вслушивался в тиканье карманного брегета. И до боли сжимал похолодевшие пальцы, ждал того неуловимого мгновенья, когда оборвётся стук в груди, наступит неподвижность...

Подняв голову, Баженов увидел спешившего ж нему Казакова.

— Василий Иванович, из Коломенского выехали, вскорости сюда будут.

Баженов вскочил.

— Сосны,— крикнул он,— скорее сосны!

И, оттолкнув недоумевающего друга, бросился ко дворцу. Две сосны заслонили фасад дворца. Их надо было срубить. И пока звенели пилы, он не отходил от рабочих, нетерпеливо смотрел на подрагивающие кроны, ждал падения.

Треснув, рухнули сосны.

Баженов пошёл вдоль дворца, на ходу отдавая приказанья. Казаков с планом — за ним. Это был последний осмотр. В несколько минут они обошли зданье. Остановившись, Баженов прищурился: фасад был растянут, теперь он ясно видел, но арки великолепны — строги и величественны.

Дворец состоял из двух квадратов, с восьмигранными, по углам, башнями. Квадраты соединялись узким корпусом, в центре которого был вестибюль и два приёмных зала.

Баженов поднялся по ступенькам, вошёл

через вестибюль в залу. Из стрельчатых окон перед ним раскрылась панорама парка и прудов, чуть подёрнутых дымкой.

Доносился мерный шум воды у плотины.

Казаков, оставшийся внизу, рассматривал генеральный план. Двое рабочих вынесли и поставили у входа во дворец лимонные деревья в кадках, слуга, одетый в ливрею, выкатил по лесенке алую дорожку ковра.

..От дворца Баженов и Казаков пошли вдоль зубчатой галереи, к хлебному домику.. Это было двухэтажное здание с белыми колоннами и розетками, ярко выделявшимися на красном камне. Верхний ярус домика был украшен круглыми башенками с остроконечными пирамидами.

Посреди фасада домика было скульптурное изображение двух хлебов, положенных на блюдо.

Над этой скульптурой Баженов работал более года. Теперь он стоял, погружённый в задумчивость. Мечта перенести в Царицыно мотивы романтической готики, слить её с чудесным русским пейзажем, как будто сбылась наяву. Стрельчатые пролёты арок, зубчатые башни, летящие над кровлей фантастические птицы, крылатые грифоны, стерегушие фигурный мост, напоминали заколдованный терем над озером, где живёт неведомая царевна...

Стоявший рядом Казаков сказал:

— Василий Иванович, оделся бы...

Кивнув, Баженов медленно направился к мосту. Здесь разметали землю, сыпали песком. Кордегардия, Эрмитажный театр были:

лично утверждены императрицей, и всё же, окидывая их взором, он трепетал, как школяр, а вдруг не угодил?

По геометрически-строгие, красные с белым стены кордегардии, витые колонны театра, таинственный, сквозь даль аллеи — фигурный мост успокоили его.

Он пошел переодеваться.

На пороге мастерской Баженова ждала жена. Её должны были представить императрице, и она только сегодня с ребятишками приехала из Москвы. Подростки Костя и Володя были в новеньких камзолчиках... Баженов потрепал их по щекам, а любимицу Оленьку расцеловал.

— Сбираться, — сказал он и опустил в кресла.

Аграфена Лукинична принесла аглицкого сукна кафтан, чёрный, с позументами, завитой парик. Он всё это надел, рассеянно заглянул в зеркало, которое держала перед ним жена, слунул пудру, улыбнулся...

— А ну, Грунюшка, загадай.

И закрыл глаза.

Строгая, она взяла из кубышки горсть кедровых орехов, потрясла в руке, разжала ладонь.

— Чёт, — прошептала Аграфена Лукинична и, порывисто обняв, поцеловала мужа в лоб. Он прижался головой к груди её и сидел так, не шевелясь. Слышно было, как под корсажем тукало сердце...

Ласково отстранив Груню, Баженов встал, взял со стола треуголку и тут, будто впервые, увидел жену. Пахмурившись, смотрел он

на парчѣвую её робу, на атласные, строчѣ-
ные бисером туфельки..

— Чего это ты расфуфырилась, матушка?
Аграфена Лукична вспыхнула.

— Да ведь ты сам наказывал..

— Ладно,— оборвал недовольно Баженов,—
сам так сам, а только не к лицу нам атласы,
Володьке нос утри..

И вышел, спокойный, уверенный в себе.

По обеим сторонам главной аллеи, ведущей
к мосту, толпились рабочие, все в новых
рубашках, примасленные, строгие. Когда по-
казался Баженов, а следом за ним Казаков
с планом дворца, свёрнутым в трубку, ра-
бочие молча и почтительно закланялись. Лю-
били Баженова, знали его ласку и справед-
ливость.

Архитектор хлопнул по плечу рослого ка-
менщика.

— Лука, подтяни живот — в гвардию не
возьмут...

Он шутил, улыбался, но в глазах была тре-
вога. Казаков, одетый в щегольской, с иг-
лочки, кафтан, казался беспечным, но и он
понимал, нутром чувствовал, что переживает
учитель.

Едва они дошли до моста, как с дороги,
клубящейся пылью, раздался стук колѣс. Ба-
женов выпрямился, снял шляпу, твёрдо по-
шёл навстречу прибывшим.

Впереди дам, в светлых гродетуровых плать-
ях, бежали скороходы, черномазые, лукавые
арабчата, в шитых золотом жилетках, алых
шальварах, с опахалами из павлиньих перьев.
За скороходами, опираясь на трость, в из-

любленном молдаване, с голубой лентой через грудь, медленно шла Екатерина.

Была грузна императрица и, памятуя о невеликом своём росте, держалась прямо с неизменно-благосклонной улыбкой на пухлых, поджатых губах. Баженов по глазам её, голубым, с карим отливом, угадал: комплезантна¹ матушка. И, взмахнув шляпой, отвесил церемонный поклон:

— Добро пожаловать, ваше величество.

Опустившись на колено, Казаков преподнёс план розовощёкому, статному вельможе. Это был Ермолов, недавно, с весны назначенный флигель-адъютантом и сочувственником непостоянного сердца императрицы. Ермолов удивлённо пожал плечами. Подоспевший начальник кремлёвской экспедиции, генерал Измайлов, торопливо развернул план. Екатерина кивнула:

— План после. Показывай.

И шествие тронулось. Впереди — Баженов, императрица, опирающаяся на руку Ермолова, позвякивающий шпорами генерал Измайлов, Матвей Фёдорович Казаков и, попарно, фрейлины. Шуршали шлейфы по песку. Шли молча. Из-за дубов, раскинувших изломанные свои ветви, показалась чёрная крыша дворца, круглые башни... Екатерина остановилась, брови её удивлённо приподнялись. Все замерли. С минуту она рассматривала дворец, недоумевая, как могли осмелиться украсить его орнаментом, повторяющим мотив треугольника — ненавистную эмблему масонства.

¹ Снисходительна.

Резко обернувшись, она спросила:

— Что это?

— Главный корпус, ваше величество,— бледнея, пробормотал Баженов.

— Отнюдь. Сие — острог, в коем жить арестанту, но не мне...

Баженов вздрогнул. Губы его зашевелились, но не единый звук не вырвался из груди. Глазами он искал Казакова. Матвей Фёдорович, почуяв недоброе, исчез в толпе. Оглядывая присмирившую свиту, Баженов встретился с лицом жены. И в её испуганном взоре прочёл приговор.

Обращаясь к Измайлову, Екатерина сказала:

— Скрыть эти казематы до основания.

Генерал щёлкнул шпорами, и все, повернувшись, пошли обратно. Любопытные, за минуту до того теснившиеся вокруг Баженова, мгновенно отхлынули. Видя, что императрица уходит, борясь с желанием заговорить с ней и не осмеливаясь, согласно этикету, Баженов сделал несколько шагов вперёд и дрожащим, не своим голосом воскликнул в отчаянии:

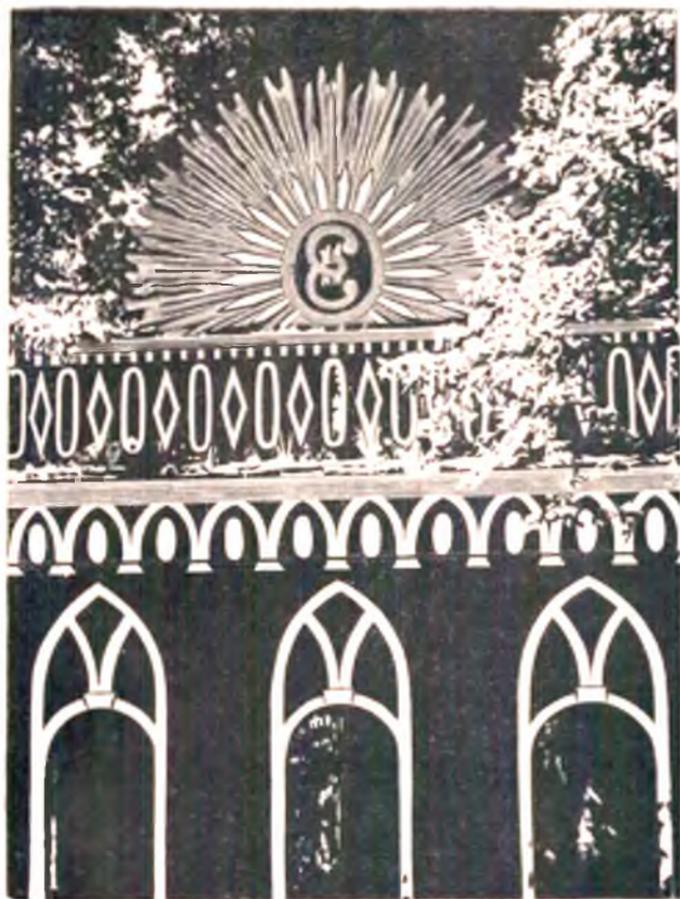
— Ваше величество!

Не оборачиваясь, Екатерина чуть замедлила шаги. Догнавший её Баженов заговорил, умоляюще прижимая руки к груди:

— Государыня, я достоин вашего гнева, не имел счастья угодить вам, но жена моя ничего не строила, но дети...

Задохнувшись, он смолк.

Екатерина молча протянула руку. Аграфена Лукинична, рыдая, припала к ней. Испуганные стояли Костя, Володя и Оленька.



Царцыно

Девочка схватилась за юбку матери. Ермолов брезгливо морщился. Генерал Измайлов, следивший за лицом фаворита, сделал знак подавать экипажи.

Императрица села, рядом с ней опустился на подушки Ермолов.

Генерал захлопнул дверцу:

— Трогай!

Карета загремела по мосту, съехала на дорогу, мягко покатилась, за ней другая, третья, и всё смолкло.

Жужжала мошкара.

Баженов стоял на фигурном мосту, смотрел вслед удаляющимся экипажам. Плыли облака, небо, деревья. Очнувшись, он провёл рукой по лбу и усмехнулся.

Это было последнее усилие воли. Слезы брызнули из глаз,— схватившись за сердце, он пошатнулся, крепко стиснул руку жены.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

30

А теперь, как в юности, он жил в Петербурге и не думал больше о Москве. С Москвой было покончено. Баженов встал, подошёл к окну. Долго смотрел на неподвижную воду.

Бледный петербургский рассвет дымился над Екатерининским каналом. В линию, как зачарованные, вытянулись дома, не отбрасывающие тени. Был май, время белых ночей.

Но волшебства их он больше не ощущал.

Туман плыл над каналом, как испаренья гнилых Понтийских болот. В Риме он видел такое утро из окна траттории. По Италия далека, недоступна, в Париже — революция. Он стоял и думал о знакомых улицах, по которым с грохотом катились теперь пушки.

И невозможным казался Париж!

А когда он прочёл в газете, что пала Бастилия и вооружённые предместья движутся на Версаль, — сердце замерло восторгом. Сбылось!

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О! вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел...

Как это дальше?

Обернувшись, Баженов увидел в зеркале сгорбленную свою фигуру и, махнув рукой, устало опустился в кресло.

Взор его был угрюм, седые брови сдвинуты.

Стиснув лицо ладонями, он силился припомнить ускользавшие строфы. По припомнить не мог...

Газеты с описанием штурма Бастилии привёз из Парижа Каржавин. Это была неожиданная встреча. С глазу на глаз они просидели долгие часы, обмениваясь воспоминаниями. Каржавин рассказывал о путешествии в Америку, о своей неудавшейся женитьбе.

По старой привычке Каржавин вскакивал, принимался ходить из угла в угол, но вдруг останавливался, замирая на полуслове, и тогда Баженов ясно видел, как изменился этот человек, которого он привык ощущать юным.

Каржавин говорил:

— Революция французская, столь счастливо предугаданная Руссо, разобьёт оковы рабства, и освобождённые народы двинутся в Россию.

Он был всё тот же, единственный из немногих друзей, оставшийся верным мечте, и

Баженов благодарно протянул ему руку. Порывисто обняв Баженова, Каржавин закончил со слезами на глазах:

— Я верю, знаю: отечество вознесёт тебя!

Ничего не сбилось. Падали, рушились в пламени твердыни королевской Франции, а здесь—в ненавистном Петербурге, в далёкой теперь Москве—уныло гудели колокола, сливаясь со звоном кандалных цепей каторжников, бредущих по дороге.

По ней, по этой дороге, проехала в Сибирь Радищев, автор «Вольности», мечтавший, как и Каржавин, что:

...Брут и Телль ещё проснутся,
Седая во власти, да смятутся
От гласа твоего царя...

Удивлённый, что строчки ожили в нём, Баженов приподнял голову, усмехнулся. Рука потянулась к стакану. Выпил, налил другой. И, вспомнив совет Каржавина, кивнул: а я, Федя, в отца пошёл, крестом закусываю. Или это Повиков говорил ему, чтобы закусывать?.. Мысли мешались. От водки ли, от бессонницы в голове звенело, билось: бежать... бежать...

Сидел, уронив голову на стол, и дремал, или это ему казалось, что он слышит взволнованный, молодой голос Каржавина:

«Слава ждёт тебя, Василий Иванович, а здесь раззор один и таланта поругание...»

— Поздно! — громко сказал Баженов и открыл глаза. Окно светлело, голубизной наполнялась комната. Он погасил свечу и сидел с минуту неподвижно, крепко сжав руки. Да

и куда бежать? Человек без родины, что соловей без песни. Таков Каржавин. Ему опять припомнился тот день, когда он впервые увидел Каржавина в синем фраке, с белым жабо. Подняв плескавшийся через край бокал, юноша крикнул:

Российского Невтона честь!

Баженов встал, медленно прошёлся по комнате.

Он вспомнил, с каким жаром говорил ему Повиков о «персоне», но вот умерла Екатерина, воцарился Павел, а ничего не изменилось.

Словно в ответ на его мысли, под окном грянул марш. Баженов облокотился на подоконник. Шли войска, чётко отбивая шаг. В зелёных кафтанах, с красными обшлагами, солдаты выправкой напоминали гвардию времён короля прусского — Фридриха-Вильгельма Первого. Впереди ехал офицер. Трепетал по ветру бархатный штандарт с вензелем императора Павла под золотой короной.

Две барыньки, из флигеля напротив, выбежали на балкон, как были, в одних капотах, усталились в лорнетки на офицера. Он прищурился, молодежато подкрутил ус. А солдаты шли, ряд за рядом, один до смешного схожий с другим.

Баженов вздохнул: три года длилась эта мука.

С утра до вечера по улицам Петербурга шли, маршировали полки. Мимо окон проносился на взмыленном коне Павел, в треуголке, сдвинутой набок, с перекошенным от ярости лицом. И за ним, очумев, скакала

свита. Протяжно выли трубы на площадях и набережных, где у полосатых будок намертво застыли часовые. После десяти часов вечера гасли огни, и без пропуска нельзя было выйти со двора.

Баженов отошёл от окна, сел и задумался. Близились сроки. И нельзя было остановить время. Он отпер потайной ящичек бюро, вынул скатанную в трубку бумагу.

И, развернув её, стал читать:

«Любезным детям моим: живите в совете и дружбе, не расточительствуйте, уважайте и почитайте старшего сына моего, как меня самого, он ваш отец,—имение же Глазово, всемилостивейше пожалованное мне государем-императором, не дробите, заклада и ссуды в банке не ищите; столичный мой дом, что супротив Никольского собора, продайте, приобретя взамен другой, поменьше, а сами не стройтесь, ибо совершенно от строений разоритесь...»

Баженов усмехнулся: по себе знал. И перевернул страницу:

«...Всячески старайтесь, чтобы крестьян излишние не отягощать работами ниже какими-либо поборами незаконными, а содержать их наилучше старайтесь... всегда помните, что они наши братья, наши дети и мы ни за что столь не оскорбляем Господа нашего, как за излишние поборы с душ подчинённых, особливо ежели будем труды расчитать безрассудно...»

Баженов взял перо и, помедлив, приписал: «а погребение сделайте мне простое, как есть безо всякой лишней церемонии с трез-

вым священником одним в простом виде и где Бог приведёт, и весьма желаю быть по-
ложенным в Глазове».

Усадьба Глазово была расположена неподалеку от Павловска, где жил Баженов при дворе наследника впредь до самой смерти Екатерины и воцарения Павла.

Под завещанием шли подписи: Аграфены Лукиничны, сыновей: Константина, Владимира и Всеволода, дочерей Ольги, Надежды и Веры, а также купецкого сына Каржавина и действительного статского советника, российских орденов кавалера, Матвея Фёдоровича Казакова.

Совсем уже рассвело. Заслышав шаги дочери, Баженов поспешил спрятать бумагу в бюро. Ему вдруг припомнилось, как огорчилась Оленька, подписывая завещание, а после кинулась на шею и зарыдала.

Никто из детей, сама Грунюшка не нашли в своих сердцах ни единого слова, ничего не сказала и Оленька, молча плакала у него на плече, но с тех пор он никого не хотел у себя видеть, кроме неё.

Рано утром дочь приносила ему еду, ласково смотрела на отца, глубоко сидевшего в вольтеровском кресле.

— Ну, егоза,— говорил он, и на окаменевшем лице его проплывала тень улыбки,— всё прыгаешь?

Оленька тёрлась щекой о морщинистую щёку отца и, поцеловав его в лоб, убегала.

Он смотрел ей вслед, качая головой. Олюшка была похожа на мать, вот такой он встретил Груню на Воробьёвых горах. Но об

этом Баженов редко вспоминал, другие мысли осаждали его. Попрыгунья Оленька, старший сын Константин Васильевич, младшие — Владимир, Всеволод, Надя и Вера, — всё это шумное племя, чьи голоса и смех наполняли дом, были его дети, а он их вовсе не знал, и, когда Костя принимался рассказывать «как у нас в полку», Баженов с удивлением смотрел на черноволосого юношу в преображенском мундире и стыдливо опускал голову: дети выросли без него.

А когда, постучав, входила жена, он растерянно, словно его уличили в чём-то дурном, поднимался из-за бюро.

— Ты что, Грунюшка? — спрашивал он, закрывая рукой чертежи.

Никто, даже самые близкие не должны были их видеть. Ему всегда казалось, что за ним следят, посторонних лиц он не терпел в доме и, заслышав бречанье клавиш из аптресолой Оленьки, недовольно морщился.

Аграфена Лукинична, как всегда, целовала его в плечо, осведомляясь: хорошо ли почивал, что будет нынче кушать. Такой он видел её каждый день, неторопливую, всё улаживающую, незаметную и вездесущую.

Это она, Грунюшка, проходила тяжёлыми шагами мимо кабинета, а её звонкий, к старости ворчливый голос раздавался в поварне и на дворе, где она сама кормила кур. Ежевечерне переваливающаяся фигура жены появлялась с канделябром на пороге кабинета.

— Ты бы отдохнул, Иваныч, — говорила она тихо, сама не веря в свои слова, и ставила

канделябр на стол,— хочешь, я посижу с тобой? Пынце я одна, Костя с Оленькой уехали на бал, а Володичка ушёл к приятелю.

И, грузно опустившись в кресло, она продолжала нараспев:

— Беда мне с Костенькой. Хоть бы ты с ним поговорил...

— А что такое?— спрашивал Баженов.

Взволнованно, по-матерински, с той непредаваемой интонацией, в которой слились тревога и любовь, Аграфена Лукинична рассказывала об амурных шалостях Костеньки, о Володичке, который начал поигрывать в картишки, а Баженов внимательно слушал, изредка задавал вопросы, покачивая в раздумье головой, но мысли его были далеко, рука чертила привычно и уверенно.

— Так как же, Иваныч?— помолчав, спрашивала жена.

Баженов удивлённо вскидывал голову и, спохватившись, делал озабоченное лицо.

— Да-да,— кивал он, — ты права, надо будет поговорить, только вот что, поговорика ты с ним сама, а я, знаешь, как-то оно того,— он шевелил рукой,— мне заняться нужно, ты уж после... Ладно?

Вздохнув, Аграфена Лукинична оправляла свой чепец и уходила так же неслышно, как пришла.

Откинувшись в кресле, Баженов думал о Володичке, который начал поигрывать в картишки, о шалостях Кости и снова брался за циркуль. Часы били полночь. К дому подъезжала карета. Слышались уверенные шаги сына, звон шпор, предостерегающий

шопот Груни. И всё смолкало. Тикали часы.

Снова Баженов оставался наедине с собой, с ночными, страшными в своей безответственности сомнениями. Откуда-то—с глади высеребрянного луной канала или из тёмных углов кабинета—поднимались они, душные, как испаренья гнилых болот. Правильно ли была вычерчена жизнь? Или всё, что прожито,—только кошмарный сон, от которого пора, наконец, очнуться, чтобы хоть перед смертью увидеть свой труд, запечатлённый в камне...

С детства,—он редко думал о нём,—мечтал Баженов сделаться архитектором, и чужие люди помогали ему в этом. Когда Ухтомский, первый учитель юности, приезжал к отцу, Иван Фёдорович лебезил, кланялся в ноги; но отца больше не было, не было в живых матери, и, может быть, никогда ему не говорил Ломоносов тех слов, от которых вспыхнуло и загорелось сердце.

Он боялся этих воспоминаний, ослепительного солнца Рима, дней молодости и несбывшихся надежд. Бог с ними. Но когда он хотел припомнить де Вальи, их поездку в Версаль, синеватый, уходящий в бесконечность партер, сами собой набегали слёзы. Было ясно: никого, никогда он не любил. Не существовало для него ни семьи, ни друзей...

Были университетские годы и годы петербургской жизни, а безумств, отчаянных поступков, простой школьной драки—не было ни разу. Оттого так легко приходили и уходили из жизни люди, близкие и далёкие, оттого так мучительна, беспокойна была старость.

Встревоженный, он шёл на зов музыки в гостиную, где сын принимал товарищей. Офицеры вставали, когда входил Баженов, музыка обрывалась. Только что говорили о разжалованиях, о плац-парадной муштре, о жестокостях сумасшедшего императора, но вот являлся Баженов, друг Павла, и всё смолкало.

Может быть, в Москве или где-нибудь в ссылке, в отдалённых поместьях, и шли разговоры о матушке Екатерине, но здесь, в доме архитектора Баженова, говорить о ней было запрещено.

А Баженов, посидев часок с молодёжью и ничего не поняв в их беседе, поднимался и уходил, опираясь на трость, равнодушный, не замечая насмешливых улыбок.

Проходя через библиотеку, он брал томик Державина, трясущимися руками раскрывал его и стоя принимался читать:

Богородица царица
Киргиз-Кайсацкие орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хюру
Взойти на ту высоко гору,
Где роза без шипов растёт,
Где добродетель обитает:
Она мой дух и ум пленяет,
Подай найти её совет...

Сама собой говорила каждая строфа, и стихи текли, как водопад, шумя, пенясь, сверкая, но то было прославление Екатерины, страшного её века, и он, захлопывая томик, бросал его в грудку книг, которую собирался и всё забывал сжечь.

Самого Державина, разлетевшегося поздравить архитектора с назначением его вице-президентом Академии художеств, Баженов не принял, а стихи Гавриилы Романовича на разлом Кремля, читанные когда-то Казаковым, употреблены были на завивку парика.

По стоило Баженову взять в руки растрёпанные страницы ломоносовских од, как волнение, с детства знакомое, охватывало его. Без очков Баженов уже не различал букв, кликал Оленьку, и та прибежала, раскрасневшаяся от танцев. «Вот, почитай мне»,— говорил он, и девочка читала, презрительно, как мать, вздёрынув верхнюю губку, недовольная, что её засадили за скучные вирши. По о том Оленька не смела заикнуться, а Баженов слушал и тихонько улыбался, покачивая головой.

Время текло, менялась жизнь, а он, как и прежде, всё пребывал в ожидании того, что не случилось за долгие годы и что могло произойти завтра, сегодня, каждый час.

— Ну-да, ну-да,— кивал Баженов, бормоча и шаркая туфлями.

Торопливо шёл он к себе, садился за стол, брал линейку с наугольником. Здесь, над бумагой, озарённой нагорающими свечами, были начало и конец его жизни.

Был план Кремлёвского дворца: модель его стояла в Москве, и был план Царицына, он висел в кабинете, над постелью, план и акварель,— ещё был рисунок пером дома Пашкова.

Этот единственный законченный дворец был особенно ему памятен.

Дом Пашкова сооружался в те времена, когда, после крушения Царицына, все отвернулись от Баженова, как от зачумлённого. Архитектора уволили в отставку, что было равносильно небытию.

По он жил. Рождались замыслы. Осуществлять их было негде и не для кого. Петля нужды всё туже затягивалась. Проданы с торгов коллекции картин, увражей, фарфора, всё, что любовно, годами, собиралось и хранилось.

Из дома в Средних Садовниках пришлось перебраться в другой, потеснее.

По приглашению графа Шереметева, Баженов работал в то лето в подмосковной усадьбе его, Кускове, возводя для кусковского парка эрмитаж, сиречь — уединение, двухэтажный домик итальянского вкуса. Он стоял в глубине липовой аллеи, изящный и строгий. Но подобные безделки не могли удовлетворить Баженова, всю жизнь мечтавшего о покорении пространства, об ансамблях, раскинувшихся на десятки вёрст.

Лейб-гвардии капитан в отставке, Пашков, бывший денщик Петра Великого, человек богатый и с причудами, купил на слом ветхое строение на холме, супротив Кремля, прельстившись единственно местоположением. Он хотел строиться и пригласил для сего Баженова, давнего своего знакомого по масонской ложе.

— Не сомневаюсь, брат, — сказал Пашков, —

что оный дом в твоих руках будет чудом искусства, совершеннейшее палаццо...

Баженов задумался. Кто знает, может быть, сей партикулярный дом сулит ему вечную славу?

— Дом будет достоин местоположения, брат,— ответил он Пашкову и, не мешкая, принялся за работу.

...Не раз задавался Баженов вопросом: кто он, как мастер, куда шёл годы, создавая и отбрасывая найденное, вечно неудовлетворённый, всегда в поисках нового, совершенного?

От старо-московского, времён Ухтомского, и раннего, ещё нарышкинского барокко, с его вычурами и завитками, тяжёлого, как пересидевшие в печке куличи, он отказался давно. Отзвучало, померкло в душе Царицыно. Всё чаще в памяти оживали стройные портики римских храмов. Голоса Витрувил и Палладио с прежней силой зазвучали в душе Баженова.

Вспоминался Париж...

Из синеватой мглы его улиц, как из рассеивающегося тумана, возникала величественная колоннада Лувра. «А может быть,— думал Баженов,— всё, что я свершил, и всё, что мне не дали свершить, были только поиски, раздумье над планами, борьба с самим собой, с душой века, ускользавшей от меня, как Психея, всякий раз, когда я брался за циркуль?..»

Душой века был классицизм. Из раскопок древнего Геркуланума возник он, обновлённый учителем Баженова, Шарлем де Вальи. Основоположники классицизма — Витрувий и Клод Перро, воплотивший образцы антично-

сти в колоннаде Лувра, — были спутниками детства и юности Баженова. Но Перро создал только фасад Лувра, а Баженов — огромный комплекс Кремлёвского дворца. Пространственность, старорусские образцы зодчества — вот к чему всегда стремился Баженов. Ни барокко, ни ложная готика не удовлетворяли его больше. Оба эти стиля, так долго тяготевшие над воображением художника, были затянувшимися поисками нового, ещё не найденного. Классицизм! Но не античный классицизм в чистом его виде и не французский, утончённый, а классицизм русский, величественный и монументальный, слитый с родным пейзажем, впитавший в себя черты национальной архитектуры, чудесные памятники древнего зодчества, русских кремлей.

Таким рисовался ему дом Пашкова. Через полгода план здания был готов. Постройка сложилась из трёх массивов: центрального корпуса и двух боковых павильонов, соединённых с главным зданием низкими, прямыми галлереями. По проекту здание было в три этажа с мезонином и вышкой в виде круглого тамбура над главным корпусом.

Весной приступили к стройке. Медленно, камень за камнем, дом рос, расправлял крылья флигелей, поднимался ввысь, в голубизну московского неба.

Мечта сбывалась. Пикто не знал, что в кубе Пашкова дома, в лёгких разворотах его флигелей жила душа Лувра, открывшаяся Баженову в Париже, лучшее, что удалось донести, не расплескав...

Но, как обычно, когда постройка близилась к завершению,—страх охватил Баженова, неуверенность в ценности им созданного. Были Пашков дом самостоятельным замыслом, или он вышел из рук де Вальди—Баженов не знал, а тут началось преследование масонов, и работу пришлось оставить.

Казаков, верный и терпеливый друг, закончил здание.

Окружённый бронзовой решёткой, дом стоял на холме, напротив Кремля. Колонны, поддерживающие портик, белели среди зелени сада, где чирикали, заливались птицы, перепрыгивая с ветки на ветку.

Перед домом, на скате горы, были устроены мраморные бассейны. В центре шумно изливался фонтан. Сад и пруд, до самой решётки, отделяющей усадьбу Пашкова от Моховой улицы, пестрел диковинной живностью. Китайские гуси, белые и чёрные павлины, крикливые попугаи разгуливали на свободе или раскачивались в золочёных клетках.

По бокам флигелей стояли две статуи: справа—Марса, слева—Веперы.

В сопровождении Казакова, смущённого молчапьем учителя, Баженов медленно стал подниматься в гору по Знаменке. Из Ваганьковского переулка они прошли через великолепные каменные ворота на просторный двор, раскрывающийся веером от ворот.

В глубине двора, где крепостные Пашкова разгружали возы с мебелью, Баженов увидел не дом, а дворец, и снял шляпу. Волнение охватило его. По обеим сторонам двора были сооружены конюшни и манеж, оба со-

вершенные, строгого вкуса здания. Два входа вели в дом. Они поднялись по главной лестнице. Над сводчатыми амбразурами первого этажа, в середине здания был устроен балкон.

Они вошли и остановились. Тосканские тонкой работы колонны поддерживали лёгкий балкон. По краям балюстрады высились статуи Флоры и Цереры. Баженов взглянул вверх: над колоннами высился герб Пашкова, поддерживаемый двумя полулежачими фигурами.

Был июль месяц, было жарко, но здесь, среди сырых ещё комнат, с настежь растворенными на балкон дверями и окнами, вея лёгкий ветерок. Осмотрев залы первого этажа, они поднялись ещё выше, на площадку вокруг ротонды купола.

Чудный вид открывался с ротонды. Прямо — Кремль с островерхими его башнями, колокольной Ивана Великого, шлемами соборов, жарко пылавшими на солнце. Среди буйно расплескавшихся садов Замоскворечья спокойно текла медлительная Москва-река. А там, теряясь в дымке необозримой дали, раскинулись окрестные монастыри, леса, луга, пашни, — русская мирная картина, при виде которой сами собой навёртываются слёзы, а на сердце легко, будто ветерок продувает душу насквозь.

Недвижимо стоял Баженов, подавленный величием стройки.

...Дом, сад, подъездные ворота — всё было исполнено Казаковым по плану Баженова, всё было прекрасно и совершенно, как не-

повторим был Колонный дворец¹ князя Долгорукого, работы неутомимого Матвея Фёдоровича, и всё же было что-то чужое в Пашковом доме, не баженовское...

Он ничего тогда не сказал Казакову, молча обнял его и уехал в Петербург.

Падвигалась катастрофа. По указу Екатерины был арестован Повиков. Захватив с собой списки членов ложи, документы, свидетельствующие о поддержке Павла масонами, Баженов отправился в Павловск к цесаревичу.

Павел встретил его на людях грозно.

— Я принимаю тебя как художника, а не как мартиниста,— кричал он, топая ногами,— об них и слышать не хочу!

А ночью, наедине, горячо благодарил Баженова за предупреждение...

32

Ежедневно в половине восьмого карета Баженова останавливалась у Академии художеств. День свой Василий Иванович начинал с обхода классов.

С палочкой в руке шёл он, сопровождаемый свитой инспекторов и преподавателей. Входил в натурный зал. Ученики шумно вставали, он махал им рукой: все садились. Баженов опускался в кресло, подолгу, с любовью смотрел на вихрастые, склонённые головы юнцов. Окна были раскрыты. Дымный луч солнца перерезал мастерскую.

¹ Ныне Колонный зал Дома Союзов.

Гипсовый торс Аполлона, запах мела, краски — приятно волновали воображение. Давно уже не замечая за собой этого, Баженов напевал, легко прохаживался между скамеек. Останавливаясь, заглядывал через плечи ученика. Иногда молча брал уголь, чертил свободной, смелой линией, и ученический рисунок оживал, словно омытое дождём дерево.

Юнец смущённо поникал головой. Баженов ласково ерошил ему волосы, шёл к другому. Эти утренние часы были для него лучшим отдыхом.

Уходя из классов, он задерживался в коридоре и, полузакрыв глаза, слушал шум голосов за дверью.

У себя в кабинете, принимая инспекторов, Баженов неожиданно улыбался и, встретив удивлённый взгляд посетителя, кивал:

— Ничего. Это я так. Продолжайте...

Он выслушивал доклады, давал указания, подтверждал на полях бумаг своё мнение, но мысли его были заняты другим...

Времени оставалось мало. Он знал это. Надо было торопиться.

Когда все расходились, Баженов запирает двери, снимал парик и брался за перо. Мысли теснились, обгоняя одна другую. «Боже господи, сколько ещё незавершённых дел!»

Из них — наиглавнейшее: издание журнала российской архитектуры.

«Для сего, — писал он, — надлежит, и в кратчайший срок, приступить к собиранию всех больших зданий в обеих столицах, состоящих как то дворцов, академий, корпусов и всякого рода казённых строений, равно заго-

родных домов и таковых же партикулярных¹, кои по хорошему вкусу своему и архитектуре то заслуживать будут, присовокупляя к тому же прожекты, каковые сделаны были для предполагаемых к действительному построению каковых-либо зданий, хотя бы оные действительно почему-либо и не были построены...»

...Да, если они *даже* почему-либо не были построены, как не был, например², осуществлён его Кремль, Царицынский дворец, сохранить оные замыслы должно будет для тех, кто, склонив вихрастые головы, прилежно чертят свой первый прожект.

Но этого мало. «По каждому из зданий, включённых в увраж Российской архитектуры, надлежит дать план, фасад и подробнейшее описание с показанием как преимущества, так и недостатков оных, когда и кем таковые здания произведены, а прожекты сочинены».

Подписав, Баженов откинулся в кресле и вынул табакерку. «Ну и прелюдно,— размышлял он,— в Москве оным делом займётся Матвей Фёдорович, а здесь, на брегах Невы, кто? Выходит, один я, а боле некому. Виченцо Бренна, новоявленный зодчий императора, о своей печётся славе и о выгоде то ж, что ему, немцу, российская архитектура?..»

Сердито захлопнув табакерку, Баженов снова взял перо и, обмакнув его, задумался.

Окна кабинета были раскрыты. Был сентябрь. Золото листьев звенело и шуршало, го-

¹ То есть частных домов.

² Например.

нимое ветром по набережной. Широко, величественно катила Нева свои воды, взмывая зелёной пеной у деревянных мостков, где он в юности, сидя с книгой, провожал завистливыми взглядами корабли, уходившие в море.

Перед глазами были те же мостки, и так же, волнуя сердце, мерцает таинственная даль противоположного берега, сокрытая от глаз. Дразня неясностью очертаний, плывут в дымке крыши и купола Санктпетербурга, обрызганные скупым солнцем осени.

А меж берегов — Нева, летейские воды, всё уносящие с собой...

Вздохнув, Баженов вынул из ящика бюро золотообрезанный лист бумаги и твёрдо, с нажимом, вывел заглавный титул:

«Всеавгустейший Монарх!..»

Мысль обратиться к двору с проектом реформы академии возникла давно, ещё с тех времён, когда стоял он молодым человеком вот в этом самом кабинете перед чванливым президентом академии Бецким, сидевшим в том же вольтеровском кресле, где сидел теперь Баженов, вспоминая с улыбкой вирши, сочинённые Каржавиным:

Иван Иванович Бецкий,
Человек немецкий,
Носил мундир шведский,
Воспитатель детский
За двенадцать лет
Выпустил в свет
Шестьдесят кур,
Набитых дур...

Вирши были о воспитанниках Смольного, императрицы Екатерины института, но и

здесь, в стенах академии, пытался насаждать французское европействующий просветитель, а посему окружил себя мадамами, смазливыми не в меру и щебетавшими, как канарейки.

Для сего выписывал он их вместе с птицами и вручал французинкам судьбу питомцев, коим с годовалого возраста надлежало обучаться искусствам.

Особую породу людей восхотел вывести Бедный с помощью просвещёнейших иностранцев. И смех, и грех. А луше всего стыд! Раскалённым углём жёг он сердце Баженова: не довольно ли на брюхе ползать перед Европою? И кому? Россиянам, славу свою приумножившим деяниями Петра, дщери его, Елисаветы, самой Екатерины, раздвинувшей пределы любезного отечества, украсившей сей полуночный град памятниками искусства, пред коими века и века стоять в изумлении чужестранцам.

Правда, француз Фальконет вздыбил коня уздою державного всадника; италиец Растреллий воздвиг Смольный монастырь, где сами стены, колокольня, вознесённая к небу, поют хорал гармонии. Всё это так: немало чужеземцев потрудились во славу града Петрова, но немало и русских зодчих славу достойно разделили. А более того, и сие забывать не должно, что вдохновителем для иноземных мастеров был дух Россов, заставивший служить их гению державы Российской!

Не гордой ли думой возвеличивался сам Аристотель Фпораванти, строитель Кремля московского, возводя на манир и по образу

фряжскому православный Успенский собор в Кремле, и стены его, и башни?

А что случилось? Умерли иноземные мастера, отошли в преданье имена их и забылись, а слава Кремля вечна, преобладает в веках, и сила славы сей зиждется на том, что Кремль, средоточие земли русской, российским же духом преображен: и смотрится, и мыслится, и чувствуется Кремль, как сердце матери Руси, извечно русским.

Таков дух российский, всепобеждающий время само, и народы!

Но для свершения сих геркулесовых подвигов потребны истинно русские художники, Российской академией художеств воспитанные, а для сего надлежит коренное её переустройство.

Через минуту, воодушевлённый этой мыслью, он уже писал размашистым своим, быстрым почерком:

«Всемиловейший Государь! Долг есть всякого верноподданного располагать служение своё по всей возможности и по разумению к удовольствию Монарха, к славе владычества его и к выгодам его подданных. Я тогда почитаю себя бездыханным, когда не мыслю о Вашем, всемиловейший Государь, и о всеобщем благе. К сим двум предметам прилепляет меня и клятва и должность верноподданническая.

С того времени как по высочайшему Вашего повелению, я действительно вступил в должность Вице-Президента Императорской Академии Художеств, имел я случай сделать разные примечания на сие толико важное в Рос-

сийской Империи учреждение, которая всеподданнейше осмеливаюсь положить к подножию Монаршего престола, в той надежде что, промеж других отечеству полезных упражнений Вашего Императорского Величества, удостоются и сии примечания высокомонаршего воззрения...»

*Примечания о императорской
академии художеств*

I

Войдя во все потребности нынешнего положения Академии Художеств, нашёл я, что она по нижеследующим причинам в рассуждении претерпевших обстоятельств, во многом отошла от намерения, с каким она была основана для общего блага Российской Империи; большое число малолетних детей, принимаемых без разбора в воспитательное её училище, прежде нежели развернулась влияющая природою господствующая к наукам ли или к художествам или к мастерствам склонность отягощается вдруг многими и трудными понятиями в разборе разных букв иностранных языков, когда те дети не знают ещё собственного своего языка, и в то же время начинают обучать их рисованию, часто против склонности их, от чего при самом начале учение показывается им горестно и делается отвращение, рождается душевная унылость и может произойти со временем порча в нравственном и физическом поведении таковых молодых людей: ибо хотя бы кто родился с ве-

ликою способностью к одному которому ни-
будь из трёх знатнейших художеств, но тот
его дух от трудов летам его несоразмерных
в самом зародыше умолкнет...

...Не хую я учение иностранных языков:
они полезны; но не в червых возрастах; да и
в последних должно преподавать юношам сие
учение по желанию их, а не по припужде-
нию...

II

Более тридцати лет уже приметно стало,
что от Академии Художеств желаемого успеха
не видать; хотя появились прямые и великого
духа российскийские художники, оказавшие свои
дарованья, но цену им не многие знали, и сии
розы от терний зависти либо невежества за-
глохли: при том же признаться должно, что
таковых художников было не много, а при-
чина сему та, что мы взялись неосторожно за
воспитание, не сходственное со нравами на-
циональными: не узнавши склонности моло-
дого человека, отец назначает его к художест-
ву ради единого куска хлеба и отдаёт его на
руки учителей, в школу, основанную на Мо-
наршей щедроте, не испытавши сил его и
без всякого приготовления к учению Акаде-
мическому. Академия Художеств есть учи-
лище, основанное для спознания трёх знат-
нейших художеств: живописи, скульптуры и
архитектуры; а познание сие требует не
только предварительные многие знания, но
и природную к сему сáмому склонность. Из
сего следует, что Академия не может быть

вместе и школою высоких художеств, требующих раздвѣлого уже ума, и училищем воспитательным, где даётся первое образование пребывающему ещё в тёмной почке уму, на что потребны в надзирателях скромность, кротость, благонравие и добродетель; ибо в самых младчайших годах полезнее и нужнее всего благорастворение солнца правды, любви к Богу, к Государю и к ближнему своему; на сих твёрдых столбах основано блаженство для духа, души и тела; на них основывается прямое воспитание лучше всех наставлений французских. Тогда, смею сказать, будут выходить из Академии хорошие художники, полезные искусством своим мастера, добронравные граждане, кроткие сыны отечества своего, напоённые с молодых лет духом повиновения, без которого нигде не бывает единодушия, ни согласия и никакого начальство благоуспешным быть не может...

III

Для лучшего успеха профессорам должно быть всякой день в своих классах в часы учения: ибо когда учитель не работает сам в классе, тогда ученик не может примениться к приёмам учителя; не видит, как рука его действует молотом или владеет кистью: эстампы, гипсы и картины суть учителя немые, горячат идею; но без деятельного учения должен мальчик доходить до искусства ошупью и наконец по хорошему образцу выйдет из него холодной подражатель, но

не будет он никогда мастером своего искусства, ибо никакого великого духа в себе чувствовать не станет без руководства и не будет даже знать какой Академии держаться ему в рассуждении колеров; а с разных картин списывая копии, не будет никогда хорошим оригиналистом. Следует из сего, что все профессоры и другие разных именованных учителя и мастера художеств, пользующиеся Академическим жалованьем, должны работу свою, какая бы она ни была, то есть собственная или заказная, партикулярная или казенная, делать в Академическом классе, с такою же свободою, как в своей комнате; сие будет тем полезнее для воспитанников, что будет тогда кому поправлять их в рисунке и давать им мысли; сие было разумно заведено при начатии Академии; а оные господа могут учреждать между собою очередь для ежедневного смотрения надо всеми академическими классами, и выбрав себе помощников для поправления слабых; ныне же те из воспитанников, которые под именем помощников имеют смотрение в классах, занимаются только своим присмотром и не могут усовершенствоваться в знании своём, а чрез учреждение вышеупомянутого порядка сами не будут терять своего времени, и мысли каждого должны бы изощряться; особливо, когда ученики будут близко своих профессоров, успехи их виднее будут, нежели когда сидят они 4 и 5 часов с рядом перед оригиналом, который говорит только глазам, но уму никакого наставления в неопытности его дать не может.

...Академия Художеств имеет позади здания своего довольно земли, чтоб на ней выстроить несколько домов для отдачи в наём, из которого могла бы она иметь доход для своего содержания... Академия стала бы пользоваться беспрепятственно и вечно теми своими доходами, не имея нужды утрудждать более казну Государеву для своего содержания, особливо когда бы Государь Император повелевал как картины, так и эстампы, бюсты, бронзы и другие художественные вещи, привозимые на биржу из чужих земель, оценивать Академии, с доходом ей несколько копеек с рубля оценки. Россия имела бы через то такую выгоду, что публика перестала бы платить безмерную цену, как она часто платит за такие вещи, в десятеро больше нежели они стоят, обогащая чрез то иностранцев, которые вывозят лишние деньги из России, пока покупатель разоряется покупая, по неумению своему, часто копию за оригинал. Между тем Академия могла бы приращать сама более художников и добрых сограждан в отечестве нашем, особливо если бы одобрением Монаршим вошло в обычай отдавать казённые работы российским художникам под присмотром Академическим, а не иностранцам, отнимающим у Россиян не только хлеб, но и самый случай показать своё усердие и искусство; ибо число тех не только велико в России, но они же живут в ней и предпринимают всякую работу без

ведома Академического, не бывши ею экзаминованы и не получивши от неё ни аттестата ни привилегии; чрез что они притесняют национальных мастеров и мало помалу отнимают доверенность публики к Императорским академистам. От сего родилось другое злоупотребление, именно такое, что и природные художники Российские, вошедши только в преддверие художества и не совершивши учения своего, поспевают занимать без экзамена места, в которых следовало бы быть художником, апробованным Академиею, и в прожектах своих относящимся к ней на рассмотрение; ибо не только планы дворов, что строятся в городе, но и оценка разных в нём домов, должны зависеть от Императорской российской Академии Художеств.

Всемиловитивейший Государь Вашего Императорского Величества всеподданнейший Василий Баженов.

1799 года.

сентября мѣсяца

33

В день приёма у Павла Баженов лёг после обеда вздремнуть. Слышно было, как на антресолях Оленька играла новомодный танец вальс. Император запретил его, считая неприличным,—вальс танцовали тайно. Под этот кружащийся, мечтательный мотив Баженов уснул, а когда он очнулся, был уже вечер.

Приподнявшись с постели, Баженов позвонил и приказал закладывать карету. Со свечой в руке вошла жена.

— Едешь, Василий Иваныч?

Он молча кивнул. Аграфена Лукинична поставила свечу на стол и хотела выйти, но он удержал её за руку.

— Сядь.

Удивлённая, она опустилась в кресло, провела ладонью по всклокоченным волосам мужа.

— Лысешь, Иваныч...

— Годы, матушка: шестьдесят два стукнуло. Да не тот, мундирный кафтан,— раздражённо сказал он слуге.

Когда платье было принесено, Баженов махнул рукой:

— Сам оденусь. Ступай!

Слуга вышел. Несколько минут длилось молчанье. Потрескивала свеча. Баженов лежал с закрытыми глазами, и оттого, что жена, Грунюшка, здесь, рядом — было хорошо, как в юности, когда вот так же, в горе или радости сидели молча вдвоём.

И сегодня был такой день.

Предстояло законченный план Михайловского замка везти на рассмотрение Павлу. Тяготясь своим пребыванием в Зимнем дворце, где всё напоминало о Екатерине, Павел торопился с постройкой. Ещё не был утверждён проект, а уже на месте закладки — день и ночь — шли работы.

В последнее время император был мрачен. Духи являлись к нему. Архангел Михаил повелевал через часового, которому был голос, сооружать здание немедленно.

Михайловский замок, названный так в честь архангела, воздвигали на Марсовом поле, неподалеку от Летнего сада. На этом месте, в

деревянном дворце Елизаветы Петровны, построенном некогда Растрелли и сгоревшем, родился Павел.

«Здесь я хочу умереть»,— говорил он Баженову.

Через два месяца план был готов. Проект замка представлял собой средневековую крепость, окружённую рвами, с зубчатыми башнями, подъёмными мостами.

Работа была наспех и не удовлетворяла Баженова.

В орнаментовке стен повторялись мотивы Кремлёвского дворца, круглые окошечки и готические башни перенесены были из забытых чертежей Царицына, и, словно окованный тяжестью, Михайловский замок застыл в мучительной неразрешённости стиля...

Лёжа, он думал об этом.

— Девять часов уже,— прошептала Аграфена Лукинична.

Баженов кивнул. Вставать не хотелось. По ехать надо было, воля императора — закон. Что он такое хотел сказать ей? Морщась, Баженов приподнялся на локте и вдруг, раскрыв рот, тяжело рухнул навзничь.

Груня бросилась к нему.

— Василёк, милый, что с тобой?

Глубоко вздохнув, Баженов открыл глаза:

— Ну, чего шумишь, детей вспугнёшь. Маленько голова закружилась. Полежу и отойдёт. А ты сядь,— и, взяв её за руку, крепко сжал в своей.

Помолчав, он проговорил полувопросительно:

— Весной в Москву поедем...

— Поедем, батюшка, бесприменно поедем, а только что ж весны дожидать, подай репорт — государь милостив, отпустит.

Он посмотрел на неё строго:

— Нельзя, мать.

И выпустил руку. Полежав с минуту, Баженков встал, оделся с помощью жены и сел в кресло перед зеркалом. Аграфена Лукинична сама завязала ему ленты на туфлях. Задумчиво смотрел он на седую её, в сбившемся чепце голову и всё хотел сказать главное, но не мог вспомнить. И, вздохнув, поднялся с кресел.

В кабинет вбежала прощаться Оленька. Она была в белом платье, высоко, под грудь перевязанном лентой, с короткими рукавами, ни дать, ни взять — нимфа с полотна Давида. А на русой головке веночек искусственных роз. Ласкаясь к отцу, Оленька говорила, что ни-за-что не уснёт, пока он не вернётся из дворца.

— Я вас хочу ждать, рарá. Хорошо?

Баженков перекрестил её и поцеловал в лоб. Оленька надула губки. Ей не нравились эти семинарские манеры рарá. Сделав насмешливый реверанс, она взялась пальчиками за кружево юбки и, звонко хохоча, убежала.

Пожки её в белых замшевых туфельках с античным переплётом из лент вокруг щиколотки замелькали по лестнице вверх, а он стоял, сокрушённо качая головой. Дом был у них на французский лад, а по улицам Петербурга, ударяя пятками, потряхивая в такт косицами, — маршировали прусской выправки полки.

Непонятное настало время. Всё французское под запретом, всё немецкое насаждалось, а отечественное позабыто.

Только они с Грунюшкой привержены старине.

Аграфена Лукинична жарко топила печь, сама ставила хлебы, аккуратно соблюдала посты и говеть ходила к Пиколе-Звонному, что на Третьей линии Васильевского острова, где сквозь церковную ограду свешивались пыльные кусты акации и было совсем как в Москве.

Пакинув на плечи плащ, Баженов взял из рук слуги треуголку с плюмажем и, напутствуемый женой, вышел во двор. Здесь ждала карета. Кучер, рыжебородый Симеон, открыл дверцу и выкинул подножку.

— Извольте, батюшка, садиться,— сказал он с поклоном.

Баженов занёс было ногу на подножку и вдруг, вздрогнув, обернулся. Кто-то, хрипло выкрикивая, пел под балалаечный перебор:

Ах ты сукни сын комаринский мужик,
Ты за што про што калашницу убил?..

Резким движеньем Баженов высвободил локоть из рук жены, решительно направился к людской. Отворив дверь, он невольно отступил. В кругу судомоек, ухватившихся за бочка, вертелся старик в красной рубахе. Дёргая за струны балалайки, он пел приплясывая:

Я за то про то калашницу убил...

— Фёдор!

Каржавин обернулся и, ослабившись, отдал до земли шутовской поклон:

— А-а ваше-сиясь, благодетель. Прошу-прошу к нашему шалашу!

Баженев взял у него из рук балалайку.

— Федя,—сказал он тихо,—и тебе не стыдно, ведь образ челогеческий потерял, винопнийствуешь, малых сих смущаешь? Идём отсюда!

Пошатываясь, Фёдор Васильевич тупо смотрел в глаза и улыбался. Он был хмельн, лицо его, вздущееся и окаменевшее, было совершенно бессмысленно.

— Никуда я не пойду. Оставь! Мне здесь хорошо...

Ударив себя в грудь, он закричал:

— Что есмь Карржавин! Я спрашиваю! Червь! П-но...

И прищурившись, повёл пальцем перед носом:

— Сне есть тайна...

34

С тяжёлым чувством поднимался Баженев по лестнице Зимнего дворца. Здесь он бывал не раз, и не раз всходил по этим ступеням, залитым малиновым ковром, далёкий друг юности—Новиков. Павел выпустил его из Шлиссельбурга. Теперь Новиков жил у себя в Авдотьине, присмиривший, разбитый горем старик.

На стене приёмной висели портреты Ротари, сельские, улыбочные головки, «Чудесный лов рыбы»—Антон Лосенко, а сам художник, спившись, погиб. Умер в забвении Варфоломей Растрелли, создатель Зимнего двор-

да, из которого была видна Петропавловская крепость, где сидел некогда автор «Вольности» Александр Радищев.

Гибель этих людей не была тайной для Баженова.

В зеркале он видел себя в зелёном, академическом мундире, с анненской звездой на груди. Из-под завитого парика смотрело на него озабоченное, в морщинах, лицо, с глубоко запавшими глазами.

Дежурный нёс планы, сам Баженов шёл, опираясь на палку, и только у дверей кабинета отдал её камер-лакею.

Император не терпел вида немощей.

Семидесятилетние генералы маршировали перед ним в одних мундирах на снегу Марсова поля, падали замёрзшие солдаты, и никто не жаловался. Жалоб Павел не любил.

Часы на камине пробили десять.

В это время все огни в Петербурге гасли, театры и балы прекращались, а часозые на бельведере Зимнего дворца затыгивали перекличку:

«Император спи-ит!..»

По император не спал. Он нетерпеливо шагнул по кабинету и, когда Баженов вошёл, остановился.

— А-а, наконец-то,— хрипло пробормотал он,— ну, показывай...

Молча Баженов разложил на столе план. Павел тотчас же склонился над ним. Лицо его под люстрой было бледно, губы подёргивались, глаза смотрели безжизненно, как у Каржавина, и, казалось, ничего не видели, мутные, в красных жилках. Отстранив план,

император вскочил и опять начал ходить из угла в угол.

— Как долго думаешь строить?

Баженов, не получив предложения сестры и не осмеливаясь, согласно этикету, чувствовал, как дурнога, предвестник сердечного припадка, подкатывает к горлу. Фигура Павла то уменьшалась, то увеличивалась и вдруг пропадала вовсе.

— Пу, я спрашиваю?

— Пять лет, ваше величество.

Павел дернул плечом.

— Вздор! Я не могу здесь жить. Год-два!..

Слова он выкрикивал в лицо Баженову, опирающемуся руками на стол. По странно — хриплый, каркающий голос и звон шпор раздавались из разных углов кабинета.

Сделав над собой усилие, Баженов снова увидел Павла.

Крадучись, как кошка, император подошёл к двери, приложил ухо к замочной скважине и, вдруг обернувшись, широко раскрыл глаза.

В них был ужас.

— Убьют, — беззвучно прошептал Павел.

И, резнув себя ладонью под горло, расхотелся.

— Ваше величество...

— Молчи! Я знаю! Чувствую! — выкрикивая, Павел яростно тряс колокольчик.

На пороге бесшумно вырос лакей.

— Бренну!

Растерянно перебирая чертежи, Баженов стоял бледный, не в силах вымолвить слова. С Виченцо Бренна, придворным архитектором и живописцем Павла, он не ладил. Льстивый

и вероломный австриец долгие годы работал у цесаревича в Гатчине и Павловске. Здесь Баженов с ним познакомился, и оба сразу же, с первых слов, почувствовали друг к другу враждебность.

Вкрадчивой своей походкой в кабинет вошел Бренна.

— Викентий Францевич,— сказал Павел, не глядя на архитектора,— его превосходительство господин Баженов представил мне законченный проект Михайловского замка. Сколько вам потребуется времени, чтобы возвести оное здание окончательно?

— Два года, ваше императорское величество.

Павел быстро взглянул на него и, сев, указал на стол:

— Вот чертежи. Приступайте. Я назначаю вас главным архитектором, а его,— он указал на Баженова,— за-архитектором.

— Государь,— твёрдо сказал Баженов,— я готов.

Бренна удивлённо приподнял голову.

— Несмотря на наши разногласия, о чём я уже имел честь докладывать,— спокойно продолжал Баженов,— в лице господина Бренна ваше величество найдёт мастера, способного осуществить мой замысел. Тем более, что планы, чертежи, расчёты — налицо.

Бренна, которому хорошо было известно враждебное к нему отношение Баженова, с любопытством смотрел на говорившего. Павел одобрительно кивнул:

— Я уверен, что вы поладите, господа.

И встал.

— Я прошу ещё об одной милости, государь,— сказал Баженов.

— Что такое? Говори. Буду рад, ежели смогу её исполнить.

Протягивая ему лист бумаги, Баженов поклонился:

— Примите мою отставку, ваше величество. Я стар, по причине мозговой моей болезни, которую я начал чувствовать уже давно, и по многим трудам и печалям мира сего...

Смолкнув, он сел, закрыв глаза ладонью.

Павел подошёл к столу, взял перо и, написав «Быть по сему», вернул его Баженову.

35

Куранты Петропавловской крепости отметили полночь. В сумерках августовской ночи едва проступали ров и линии бастионов. Вдоль крепостного вала медленно расхаживали часовые. Проплыла и скрылась громада Зимнего дворца.

Сидя в покачивающейся карете, Баженов равнодушно смотрел в окно. Мелькали полосатые будки, дома, погружённые во мрак. Тишина лежала в улицах, и только изредка мердал за плотной шторой огонёк свечи. И невероятной казалась в них жизнь. Тоска охватывала Баженова. Впервые за долгие годы он был свободен от дел. Всё кончено: труды, бессонные ночи, заботы,— прощай, Михайловский замок!

Усталость чувствовал Баженов, клонило в сон. И дремой был окутан Петербург. В этом

городе он не мог ни жить, ни работать. И вдруг, при мысли, что кончена работа, иголкой кольнуло сердце. Баженов закрыл глаза и опять увидел кривые улочки Замоскворечья, их дом в Средних Садовниках. А рядом—Грунин сад. Ничего не утеряно. Жизнь, повторяясь, шумела голосами детей, смех Оленьки звенел в аллеях, где он играл с Груней в прятки...

Всё было кончено, он знал это и все же с нетерпением ждал того момента, когда придет домой, скажет Грунюшке:

— Пу, старуха, сбилось твоё желанье: собирайся в Москву...

Свернув с Миллионной, карета выехала на Марсово поле. Кругом горели огни. Словно армия победителей стала бивуаком на огромном его пространстве, от решётки Летнего сада до фундаментов Михайловского замка. Поскрипывая, экипаж бесшумно катился мимо столбиков кирпичей, груды сваленных брёвен.

Было видно, как среди палаток и шалашей взад и вперёд сновали рабочие, слышались торопливые удары молота, визг пилы, разноязычный говор и шум стройки. Чада, шипели факелы, порой вспышка озаряла прозрачные аллеи Летнего сада с мраморными статуями и расплавленной Невой, чуть поблескивающей сквозь узор фельтоновской решётки.

Каждый вечер, проезжая через Марсово поле, Баженов выходил из кареты, советовался с мастерами, подолгу смотрел на выроставший, ему одному только видимый дворец.

Патянув вожжи, Симеон полуобернулся, ожидая, как всегда, приказа остановиться, но Баженов сидел молча, крепко закусив губы,

бледный, с полужакрытыми глазами. Кучер стегнул по коням, и карета опять загрохотала, подпрыгивая на ухабах.

На углу Екатерининской тень будочника с фонарём метнулась ей наперерез.

— Сто-ой!

Карета остановилась.

— Кто едет, борода? — осведомился стражник у Симеона.

— Его превосходительство, вице-президент академии...

— А ну, давай пропуск!

Кучер заглянул в окошечко. Баженов дремал, откинувшись в угол кареты.

— Ишь ведь дела какие, уснувши, — сокрушённо покачал головой Симеон и, кряхтя, слез с козел.

— Батюшка, пропуск требуют...

Баженов не отвечал.

Тогда Симеон отпер дверцу и, просунувшись в качавшуюся карету, тронул за плечо Баженова.

— Барин, а барин...

Стражник выше поднял фонарь.

— Постойка-сь, — сказал он, стягивая с себя треуголку, — да никак твой барин номер? Господи Иисусе! Так оно и есть. А ну, заворачивай на съезжую, там разберут...

Москва. 1937—1940



Редактор **А. Воинов**
Художник **Н. В. Плятин**
Технический редактор
Д. Ермоленко

Сдано в набор 4/X—44 г. Под-
писано к печати 29/VIII—45 г
Л-13025. Форм. бум. 82×106¹/₃₂
Тираж 25000. 13¹/₈ печатных л.
7,4 учет. авт. л. Заказ № 2403

6-я типогр. треста „Полиграф-
книга“ ОГПЗ при СНК РСФСР
Москва, 1-я Самотечный, 17

*

Цена 5 руб.
Переплет 2 руб.

30